
Лето
нежданных
чудес
ВИНО
ИЗ
ОДУВАН
ЧИКОВ
Рэй
Брэдбери

Вино из одуванчиков
Рэй Дуглас Брэдбери

Аннотация
Рэй Брэдбери. Вино из одуванчиков
По эту сторону Византии. Вступительное слово
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX

XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII

Аннотация

Войдите в светлый мир двенадцатилетнего мальчика и проживите с ним одно лето, наполненное событиями радостными и печальными, загадочными и тревожными; лето, когда каждый день совершаются удивительные открытия, главное из которых – ты живой, ты дышишь, ты чувствуешь!

«Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери – классическое произведение, вошедшее в золотой фонд мировой литературы.

Рэй Брэдбери
Вино из одуванчиков

Ray Bradbury
THE DANDELION WINE
Copyright © 1957 Ray Bradbury

© 1953 by Ray Bradbury
© Оганян А., перевод на русский язык, 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

* * *

Уолтеру И. Брэдбери, Не дядюшке, не кузену, А самым решительным образом – Редактору и другу!

По эту сторону Византии
Вступительное слово

Эта книга, как и большинство моих книг и рассказов, возникла нечаянно. Я, слава богу, начал постигать природу таких внезапностей, будучи еще весьма молодым писателем. А до того, как и всякий начинающий, я думал, что идею можно принудить к существованию только битьем, мытьем и катаньем. Конечно, от такого обращения любая уважающая себя идея подожмет лапы, откинется на спину, уставится в бесконечность и околеет.

Можно сказать, мне повезло: в двадцать с небольшим лет я увлекался словесными ассоциациями: просыпаясь поутру, шествовал к своему столу и записывал любые приходящие на ум слова или словесные ряды.

Затем я во всеоружии обрушивался на слово или вставал на его защиту, призывая ватагу персонажей взвесить это слово и показать мне его значение в моей жизни. Через час или два, к моему удивлению, возникал новый, законченный рассказ. Совершенно неожиданно и так восхи-

тительно! Вскоре я обнаружил, что подобным образом мне суждено работать всю оставшуюся жизнь.

Поначалу я перебирал в памяти слова, которые описывали мои ночные кошмары и страхи моего детства, и лепил из них рассказы.

Потом я пристально посмотрел на зеленые яблони и старый дом, в котором родился, и на дом по соседству, где жили мои бабушка и дедушка, на лужайки летней поры — места, где я рос, и начал подбирать к ним слова.

В этой книге, стало быть, собраны одуванчики из всех тех лет. Метафора вина, многократно возникающая на этих страницах, на удивление уместна. Всю свою жизнь я копил впечатления, запрятывал их куда-нибудь подальше и забывал. При помощи слов-катализаторов мне предстояло каким-то образом вернуться и распечатать воспоминания. Что-то в них будет?

С двадцати четырех до тридцати шести лет дня не проходило, чтобы я не отправлялся на прогулку по своим воспоминаниям среди дедовских трав северного Иллинойса, надеясь набрести на старый недогоревший фейерверк, ржавую игрушку, обрывок письма из детства самому себе, повзрослевшему, чтобы напомнить о прошлом,

о жизни, о родне, о радостях и омытых слезами горестях.

Это занятие превратилось в игру, в которую я ушел с головой, — интересно, что мне запомнилось про одуванчики или про сбор дикого винограда в компании папы и брата. Я мысленно возвращался к бочке с дождевой водой — рассаднику комарья под боковым окном, выискивал ароматы золотистых мохнатых пчел, висевших над виноградной оранжереей у заднего крыльца. Пчелы, знаете ли, благоухают, а если нет, то должны, ибо их лапки припорошены пряностями с миллионов цветов.

В более зрелые годы мне захотелось вспомнить, как выглядел овраг, особенно тогда, когда поздними вечерами я возвращался домой с другого конца города, после сеанса «Призрака Оперы» с живописными ужасами Лона Чейни, а мой брат Скип забегал вперед и прятался под мостом через ручей, откуда, подобно Неприкаянному, выпрыгивал вдруг, чтобы меня сграбастать, а я с истошными воплями улепетывал, спотыкался, снова бежал и верещал всю дорогу до самого дома. Бесподобно!

Играя в словесные ассоциации, я попутно встречался и сталкивался с истинной и ста-

ринной дружбой. Из своего детства в Аризоне я позаимствовал для этой книги своего товарища Джона Хаффа и перенес его на восток, в Гринтаун, чтобы попрощаться с ним как подобает.

Попутно я садился завтракать, обедать и ужинать с давно почившими и обожаемыми мною людьми. Ведь я на самом деле любил своих родителей, дедушку-бабушку и брата, несмотря на то что тот, бывало, мог меня, что называется, «подставить».

Я то оказывался в погребе, работая с отцом на винном прессе, то на веранде в ночь Дня Независимости, помогая своему дядюшке Биону заряжать его самодельную медную пушку и палить из нее.

Вот тут-то я и столкнулся с неожиданностью. Конечно, никто не велел мне быть застигнутым врасплох, мог бы я добавить от себя. Сам виноват. Я набрел на старые и лучшие способы сочинительства благодаря своему неведению и экспериментаторству и вздрагивал каждый раз, когда истины выпархивали из кустарника, как перепелки, чуя выстрел. Как ребенок, который учится ходить и видеть, я шел к вершинам писательского мастерства наобум. Научился позволять своим чувствам и Прошлому расска-

зывать мне все, что было истинным.

Так я превратился в мальчика, бегущего с ковшом за чистой дождевой водой, зачерпнутой из бочки на углу дома. И, разумеется, чем больше воды вычерпываешь, тем больше ее заливается. Поток никогда не иссякал. Как только я научился снова и снова возвращаться в те далекие времена, у меня возникло множество воспоминаний и чувственных ощущений, которые можно было обыгрывать, не обрабатывать, а именно обыгрывать. Грош цена «Вину из одуванчиков», если оно не есть спрятавшийся в мужчине мальчишка, играющий в божьих полях на зеленой августовской траве, в пору своего взросления, старения и ощущения тьмы, поджидающей под деревьями, чтобы посеять кровь.

Меня позабавил и несколько озадачил некий литературный критик, написавший несколько лет назад аналитическую рецензию на «Вино из одуванчиков» и более реалистичные произведения Синклера Льюиса, в которой он недоумевает: как это я, родившийся и выросший в Уокигане, переименованном мною в Гринтаун для моего романа, не заметил в нем уродливой гавани, а на его окраине удручающего угольного порта и железнодорожного депо.

Ну конечно же, я их заметил и, будучи прирожденным чародеем, был пленен их красотой. Разве могут быть в глазах ребенка уродливыми поезда и товарные вагоны, запах угля и огонь? С уродливостью мы сталкиваемся в более позднюю пору и начинаем всячески ее избегать. Считать товарные вагоны — первейшее занятие для мальчишек. Это взрослые бесятся и улюлюкают при виде поезда, который преграждает им дорогу, а мальчишки восторженно считают прикатившие издалека вагоны и выкликают их названия.

К тому же именно сюда, в это самое, якобы уродливое, депо прибывали аттракционы и цирки со слонами, которые в пять утра в темноте поливали могучими едкими струями мостовые.

А что до угля из порта, то каждую осень я спускался в подвал в ожидании грузовика с железным желобом, по которому с лязгом съезжала тонна красивейших метеоров, падающих в мой подвал из глубокого космоса, угрожая похоронить меня под грудой черных сокровищ.

Иными словами, если ваш сынишка — поэт, то для него лошадиный навоз — это цветы, чем, впрочем, лошадиный навоз всегда и является.

Пожалуй, новое стихотворение лучше, чем сие предисловие, объяснит, как из всех месяцев Лета

моей жизни проросла эта книга.

Вот как оно начинается:

Не из Византии я родом,
А из иного времени и места,
Где жил простой народ,
Испытанный и верный.
Мальчишкой рос я в Иллинойсе.
А именно в Уокигане,
Название которого
Непривлекательно и
Благозвучием не блещет.
Оттуда родом я, друзья мои,
А не из Византии.

Стихотворение продолжается описанием моей привязанности к родным местам длиною в жизнь:

В своих воспоминаниях,
Издалека, с верхушки дерева,
Я вижу землю, лучезарную,
Любимую и голубую,
Такую и Уильям Батлер Йейтс
Признал бы за свою.

Уокиган, в котором я частенько бываю, не лучше и не уютнее любого другого среднезападного американского городишки. Он почти утопает в зелени. Кроны деревьев смыкаются над серединой улицы. Дорога перед моим старым домом все еще вымощена красным кирпичом. Так что же особенного в этом городе? Да то, что я там родился. Он стал моей жизнью. Я должен был написать о нем как подобает:

Среди мифических героев мы росли
И ложкою хлеб Иллинойса намазывали
Светлым джемом – божественною
Пищей, чтобы его разбавить
Арахисовым маслом
Цвета бедер Афродиты…
А на веранде – спокойный и
Решительный – мой дед,
Ходячая легенда,
Достойный ученик Платона,
Его слова – чистейшая премудрость,
И светлым золотом искрится взгляд.
А бабушка тем временем

«Разодранный рукав печали»[1]
Чинит и вышивает холодные
Снежинки редкой красоты и
Блеска, чтобы припорошить
Нас летней ночью.
Дядья-курильщики
Глубокомысленно шутили,
А ясновидящие тетушки
(Под стать дельфийским девам)
Летними ночами
Всем мальчикам,
Коленопреклоненным,
Как служки в портиках античных,
Пророческий разлили лимонад;
Потом шли почивать
И каяться за прегрешения невинных;
У них в ушах грехи,
Как комарье, зудели
Ночами и годами напролет.
Нам подавай не Иллинойс, не Уокиган,

---

[1] Сноски: 1
У. Шекспир. «Макбет», акт 2, сцена II. (*Здесь и далее прим. перев.*)

А радостные небеса и солнце.
Хоть судьбы наши заурядны,
И мэр наш далеко умом не блещет,
Подобно Йейтсу.
Мы знаем, кто мы есть. В итоге что?
Византия.
Византия.

Уокиган/Гринтаун/Византия.

Так, значит, Гринтаун существовал?

Да, и еще раз да! А существовал ли на самом деле мальчишка по имени Джон Хафф?

На самом деле существовал. И это его настоящее имя. Не он меня покинул, а я. Эта история со счастливым концом. Он жив и поныне, сорок два года спустя. И помнит нашу любовь.

И Неприкаянный существовал?

Да. Так его и звали. Когда мне было шесть лет, он рыскал ночами по нашему городу, наводя на всех ужас. Его так и не поймали.

И самое важное: существовал ли на самом деле большой дом дедушки и бабушки, населенный постояльцами, дядюшками и тетушками? На этот вопрос я уже ответил.

А овраг всамделишный, глубокий и черный в ночную пору? Он был и остается таким. Не-

сколько лет назад я с опаской водил туда своих дочерей, думая, что с годами овраг мог обмелеть. Я с превеликим облегчением и удовольствием могу заверить вас, что овраг стал еще глубже, темнее и таинственнее прежнего. Даже теперь я бы не посмел возвращаться через него домой после просмотра «Призрака Оперы».

Итак, Уокиган был Гринтауном, а тот — Византией, со всем счастьем, которое под ним подразумевалось, и со всей грустью, которая звучит в этих именах. Люди в нем были богами и лилипутами и знали, что они смертны, поэтому лилипуты ходили, гордо вытянувшись вверх, чтобы не смущать богов, а боги скрючивались, чтобы коротышки чувствовали себя в своей тарелке. В конце концов, не в этом ли заключается наша жизнь — в способности ставить *себя* на место других людей и смотреть их глазами на пресловутые чудеса и говорить: «А, так вот как вы это видите. Теперь я запомню».

Итак, я чествую смерть и жизнь, тьму и свет, старое и молодое, смышленое и глупое, вместе взятые, чистый восторг и полный ужас, написанный мальчишкой, который некогда висел вверх тормашками на деревьях, напяливал на себя костюм летучей мыши с сахарными клыками

и, наконец, свалился с дерева, когда ему минуло двенадцать, пошел и набрел на игрушечную пишущую машинку и напечатал свой первый «роман».

А вот еще одно воспоминание напоследок.

Огненные шары.

В наши дни их редко встретишь, хотя в некоторых странах, как я слышал, их еще делают и наполняют теплым дыханием подвешенной снизу жженой соломки.

Но в Иллинойсе в тысяча девятьсот двадцать пятом году они у нас еще были. И одним из последних воспоминаний о моем дедушке будет это — последний час ночи на Четвертое июля, сорок восемь лет назад, когда деда и я вышли на лужайку, и развели костерок, и наполнили красно-бело-синий в полосочку грушевидный бумажный шар горячим воздухом, и держали в руках яркого потрескивающего ангела в эту прощальную минуту перед крыльцом, на котором выстроились дядюшки и тетушки, кузены, мамаши и папаши, а потом очень бережно выпустили из наших пальцев в летний воздух над засыпающими домами среди звезд все, что было нашей жизнью, светом, таинством — хрупким и непостижимым, ранимым и прекрасным, как

само бытие.

Я вижу, как дедушка, погруженный в свои раздумья, провожает взглядом парящий свет. Вижу себя: глаза на мокром месте, потому что все закончилось, ночь прошла. Я понимал, что другой такой ночи никогда уже не будет.

Никто ничего не сказал. Мы просто смотрели вверх на небо, вдыхали и выдыхали и думали об одном и том же. Но никто ничего не сказал. Хотя кто-то, в конце концов, должен был что-то сказать. И вот этим *кем-то* оказался я.

Вино по-прежнему дожидается в недрах погреба.

Моя возлюбленная семья все еще сидит в темноте веранды.

Огненный шар все еще плывет, маячит и пламенеет в ночном небе еще не погребенного лета.

Как и почему?

Да потому что я так сказал.

Рэй Брэдбери, лето 1974 года

I

Безмятежное утро. Город, укутанный во тьму, нежится в постели. Погода насыщена летом. Дуновение ветра — блаженство. Теплое дыхание мира — ровно и размеренно. Встань, выгляни из окна, и тебя мгновенно осенит — вот же он, первый миг всамделишной свободы и жизни, первое летнее утро.

В сей предрассветный час на третьем этаже в спаленке под стрельчатым потолком только что проснулся Дуглас Сполдинг, двенадцати лет от роду, и доверчиво пустился в плавание по лету. Его окрыляла высота самой внушительной башни в городе, что позволяла ему реять на июньских ветрах. По ночам, когда кроны деревьев волнами накатывали друг на друга, он метал свой взор, словно луч маяка, во все стороны поверх буйного моря ясеня, дуба и клена. Но сейчас…

— Ух ты, — прошептал Дуглас.

Впереди целое лето, день за днем, предстояло вычеркнуть из календаря. Он представил, что его руки, как у богини Шивы из путеводителя, мечутся во все стороны, обрывая кисленькие

яблочки, персики и черные сливы. Он облачится в листву деревьев и кустарников, окунется в речные воды. Он не без удовольствия будет примерзать к заиндевелым дверцам ледника. Он будет радостно поджариваться на бабушкиной кухне за компанию с целым десятком тыщ курочек.

Но сейчас ему предстояла привычная задача.

Раз в неделю ему разрешалось оставить на одну ночь папу, маму и младшего братишку Тома в домике по соседству и прибежать сюда, взлететь по мрачной винтовой лестнице под бабушкин-дедушкин купол, укладываясь спать в этой колдовской башне, среди раскатов грома и призраков, чтобы пробудиться до хрустального перезвона молочных бутылей и сотворить свой чародейский обряд.

Он встал во тьме перед распахнутым окном, сделал глубокий вдох и выдохнул.

Тут же погасли уличные фонари, словно свечки на черном пироге. Он выдыхал снова и снова — стали исчезать звезды.

Дуглас улыбался, указуя пальчиком.

Туда и туда. Теперь — сюда и сюда…

На сумрачной предутренней земле прорезывались желтые квадратики. Вдруг в предрассветном далеке зажглась россыпь окон.

— Все зевнули. Хором! И встали.

Большой дом под его ногами пришел в движение.

— Деда, вылавливай зубы из стакана! — Он выдержал должную паузу. — Бабуля, прабабушка, принимайтесь печь горячие блинчики!

Сквозняк разнес теплое благоухание текучей блинной массы по коридорам, дразня ароматом постояльцев, тетушек, дядюшек и кузенов в гостевых опочивальнях.

— Улица Всех-Превсех Стариков и Старушек, просыпайся! Мисс Элен Лумис, полковник Фрилей, миссис Бентли! Ну-ка, прокашлялись! Встали с постели! Приняли пилюли! И — ходу! Мистер Джонас, запрягайте свою лошадку, выкатывайте свой фургон с добром!

Неприветливые дома по ту сторону оврага приоткрыли недобрые драконьи глазищи. Вскоре вниз по утренним улицам две пожилые дамы покатят на своей электрической Зеленой Машине, приветствуя всех собачек.

— Мистер Тридден, бегите в трамвайное депо!

И вот уже, рассыпая раскаленные голубые искры, городской трамвай плывет по руслу мощенных кирпичом улиц.

— Джон Хафф? Чарли Вудмен? Готовы? — про-

шептал Дуглас Детской улице. — Готовы? — раскисшим лужайкам, чью росу впитали бейсбольные мячики, словно губки, пустым веревочным качелям на ветвях деревьев.

— Мама, папа, Том, просыпайтесь!

Будильники ласково затренькали. Часы на здании суда гулко загудели. Птицы вспорхнули с деревьев, как сеть, закинутая его рукой, рассыпая свои трели. Дуглас — дирижер оркестра простер руку к небу на востоке.

И Солнце начало восходить.

Он сложил руки на груди и расплылся в улыбке настоящего волшебника.

«Вот так-то, — подумал он, — стоит мне только повелеть, как все срываются с места и бегут! Лето выдастся на славу». И напоследок он одарил город щелчком пальцев.

Двери домов распахнулись настежь — из них вышли люди.

Лето тысяча девятьсот двадцать восьмого года началось!

II[2]

В то утро, пробегая по лужайке, Дуглас Сполдинг разорвал паутинку. Одна-единственная, невидимая, протянутая по воздуху струнка коснулась его лба и беззвучно лопнула.

Уже это незначительное событие подсказало ему, что денек предстоит особенный. Потому что, как сказал ему в автомобиле папа, увозя его вместе с десятилетним Томом за город, бывают дни, состоящие исключительно из запахов: вдыхаешь весь мир в одну ноздрю, а выдыхаешь в другую. А бывают дни, продолжил он, обращенные в слух, когда улавливаешь любой шум и шорох во Вселенной. Бывают дни, пригодные для дегустации, и дни, благоприятные для осязания. А некоторые — для всех органов чувств сразу. А сегодняшний день, добавил он, благоухает, как большой безымянный сад, выросший ночью за горами и наполнивший землю, насколько хватает взгляд, теплой свежестью. В воздухе пахло

---

[2] Сноски: 2

Рассказ Р. Брэдбери «Озарение» («Illumination», Reporter, May 16, 1957). Здесь и далее указываются опубликованные произведения, которые впоследствии стали главами настоящей книги.

дождем, но не было туч. В роще мог бы раздаться чей-то смешок, но царило молчание…

Дуглас следил за убегающей землей. Он не чуял ни садов, ни дождя, ибо какие могут быть запахи без яблонь и облаков? А тот смешок в чаще леса?

Но факт оставался фактом — Дуглас поежился, — этот день, без видимой причины, стал особенным.

Автомобиль остановился в самой гуще притихшего леса.

— А ну-ка, мальчики, полегче там.

Они пихали друг друга локтями.

— Слушаемся, сэр.

Они вылезли из машины, прихватив синие жестяные ведра, навстречу запаху только прошедшего дождя, подальше от скучной грунтовой дороги.

— Ищите пчел, — велел папа. — Пчелы вьются вокруг винограда, как мальчишки у кухни, правда, Дуг?

Дуглас вскинул глаза.

— Где ты витаешь? — поинтересовался папа. — Больше жизни! Иди с нами в ногу.

— Слушаюсь, сэр.

Они углубились в лес. Впереди — долговязый отец, в его тени — Дуглас, а низкий Том семенил в

тени брата. Они подошли ко взгорку и огляделись по сторонам.

— Вот! И вот! Видно? — вопрошал отец. — Здесь обитают мирные летние ветры и уходят в зеленые дебри, незримые, как призрачные киты.

Дуглас быстро осмотрелся, ничего не заметив, и решил, что это очередной папин розыгрыш, который, под стать дедушке, обожал розыгрыши. Но… но все равно, Дуглас замер и прислушался.

«Да, что-то должно случиться, — подумал он, — я знаю!»

— Вот папоротник венерин волос. — Папа шагал, сжимая дужку ведра, которое раскачивалось, как колокол. — Чуете? — Он взрыхлил почву носком ботинка. — Целый миллион лет копились палые листья для этой роскошной жирной лесной подстилки. Подумай, сколько понадобилось листопадов, чтобы она образовалась!

— Ух ты, — изумился Том, — я ступаю бесшумно, как индеец!

Дуглас впечатал ступню в суглинок, но глубины не ощутил, а только насторожился.

«Нас окружили, — промелькнуло у него в голове. — Значит, что-то должно случиться! Но что именно?» Он замер. «Выходите! Эй, где вы там?! Кто бы вы ни были!» — беззвучно кричал он.

Впереди Том с папой неспешно прогуливались по притихшей земле.

— Тончайшие кружева, — негромко проговорил папа.

И он вскинул руки к деревьям, показывая, как это кружево было сплетено по небу или как небо было вплетено между ветвей деревьев. Сразу не разберешь.

— Но вот же оно, — улыбнулся он, и голубое-зеленое плетение продолжалось. — Если приглядеться, то увидишь, как лес трудится на гудящем ткацком станке. — Папа удобно устроился и разглагольствовал о том о сем. Слова непринужденно слетали с его уст. Его речь потекла еще свободнее, поскольку он все время подтрунивал над собственными словами. Ему нравится слушать тишину, говорил он, если к ней вообще возможно прислушиваться, ведь, продолжал он, в этой тишине можно услышать, как осыпается пыльца в воздухе, разогретом пчелиным гудением. Именно! Разогретом пчелами! Прислушайтесь к водопаду птичьих рулад, там, за деревьями!

«Вот, — думал Дуглас, — вот оно, приближается! Бежит! Я его не вижу! А оно бежит прямо на меня!»

— Лисий виноград! — воскликнул папа. — Вот так удача! Вы только гляньте!

Нет! У Дугласа аж дух перехватило.

Но Том с папой присели, чтобы запустить свои руки в глубь хрустящей лозы. Чары развеялись. Страшный рыскатель, бесподобный бегатель, скакатель-прыгатель и хвататель душ — улетучился, испарился.

Дуглас, опустошенный и удрученный, пал на колени. Его пальцы погрузились в зеленую тень и вышли окрашенными в такой цвет, словно он пронзил лес ножом и сунул руку в открытую рану.

* * *

— Перерыв на обед, мальчики!

Набрав по полведра лисьего винограда и лесной земляники, преследуемые пчелами, которые олицетворяли, по словам папы, ни больше ни меньше гудящую что-то себе под нос Вселенную, они уселись на изумрудно-замшелое бревно, перемалывая сэндвичи и пытаясь слушать лес, как это умел папа. Дуглас чувствовал на себе папин взгляд и молча этим забавлялся. Папа начал было говорить о том, что пришло ему в голову, но потом, откусив от сэндвича, стал рассуждать:

— Сэндвич на природе — не просто сэндвич. Замечали? Здесь он на вкус не такой, как дома, а пикантнее. С привкусом мяты или хвои… Воздух творит чудеса — аппетит зверский!

Дуглас недоверчиво полизал хлеб с поперченной ветчиной. Да нет вроде… Сэндвич как сэндвич.

Том жевал, кивая в знак согласия:

— Уж я-то тебя понимаю, папа!

«Еще чуть-чуть, и это свершилось бы, — думал Дуглас. — Что бы это ни было, оно было Большое, ой, до чего же Большое! Что-то спугнуло его. Где-то оно теперь? Вернулось в заросли! Нет, у меня за спиной! Нет, оно здесь… почти что здесь…» Он исподволь поглаживал себя по животу́.

«Если я подожду, оно вернется. Оно не причинит мне вреда. Я знаю, оно здесь не для этого. Тогда для чего же? Для чего? Для чего?»

— Знаешь, сколько раз мы сыграли в бейсбол в этом году? А в прошлом? А в позапрошлом? — заговорил вдруг Том ни с того ни с сего.

Дуглас посмотрел, как Том быстро-быстро шевелит губами.

— У меня записано! Тысячу пятьсот шестьдесят восемь раз! А сколько раз я почистил зубы за десять лет? Шесть тысяч раз! Сколько раз помыл

руки? Пятнадцать тысяч раз. Сколько раз лег спать? Четыре тысячи с лишним раз, не считая послеобеденного сна. Съел шестьсот персиков. Восемьсот яблок. Груш — двести. Я до груш не очень охоч. Назови что хочешь — у меня вся статистика! Мильярд мильонов дел переделал. Сложено-помножено на десять лет.

«А теперь, — думал Дуглас, — оно опять приближается. Зачем? Потому что Том заговорил? Но почему Том? Том знай себе лопочет. Полон рот сэндвича». Папа — настороженный, как рысь, — на бревне, а изо рта у Тома слова вылетали, как стремительные пузырьки из газировки:

— Прочитал четыреста книг. Утренние сеансы: с участием Бака Джонса — сорок фильмов, с Джеком Хокси — тридцать, с Томом Миксом — сорок пять, с Хутом Гибсоном — тридцать девять. Сто девяносто два раза ходил на мультики про кота Феликса. Десять раз смотрел фильмы с Дугласом Фербенксом. Восемь раз видел Лона Чейни в «Призраке Оперы». Четыре раза — Милтона Силлса. И один раз кино с Адольфом Менжу про любовь: пришлось проторчать девяносто часов в туалете, пока вся эта ерунда не кончилась и не начались «Кот и канарейка» или «Летучая мышь», и все вцепились друг в друга и вопили

два часа кряду, не выпуская. За это время я съел четыреста леденцов на палочке, триста шоколадных батончиков «Тутси роллс», семьсот рожков с мороженым…

Том неторопливо разглагольствовал еще минут пять, пока папа не поинтересовался у него:

— Сколько ягод ты успел нарвать, Том?

— Двести пятьдесят шесть — ровно! — последовал немедленный ответ.

Папа рассмеялся, и обед подошел к концу. Они снова ушли в зеленые тени на поиски винограда и крошечных земляничек. Все трое наклонились, их руки сновали туда-сюда. Ведра тяжелели. Затаив дыхание, Дуглас думал: «Да, да. Оно опять приблизилось! Почти дышит мне в затылок! Не смотри! Работай. Рви ягоды. Насыпай в ведро. Поднимешь глаза — отпугнешь. Не упусти его на этот раз! Но как бы так извернуться, чтобы посмотреть ему прямо в глаза? Как? Как?»

— А у меня снежинка есть в спичечном коробке, — сказал Том, разглядывая с улыбкой перчатку из винного сока у себя на руке.

«Замолчи!» — чуть было не вскричал Дуглас. Но нет, крик растревожил бы эхо, и Существо сбежало бы!

А, постой-ка… Том говорил, а оно, такое боль-

шое-пребольшое Существо, подкрадывалось все ближе. Оно не боялось Тома. Он приманивал Существо своим дыханием. Они с Томом заодно!

— В прошлом году, в феврале, — сказал Том, усмехаясь, — во время метели я поднял коробок вверх и поймал снежинку. Запер — и бегом домой, в ледник ее!

Близко, Оно совсем близко. Дуглас уставился на мельтешащие губы Тома. Ему захотелось вскочить, ибо он чуял, как за лесом вздымается исполинская приливная волна. Еще мгновение — и она обрушится на них и раздавит навсегда…

— Вот так-то, — размышлял Том, увлеченно собирая виноград. — Во всем Иллинойсе только у меня есть снежинка посреди лета. Дороже алмазов, как пить дать! Завтра я ее достану, Дуг, чтобы ты тоже ее увидел…

В какой-нибудь другой день Дуглас фыркнул бы, отмахнулся, запротестовал. Но сейчас, когда великанское Существо неслось на них, низвергаясь с небес, он мог только, прикрыв веки, кивнуть.

Том перестал рвать ягоды, обернулся, заинтригованно уставившись на братца.

Выгнутая спина Дугласа — законная добыча! Том вскочил, заверещал — и как сиганет на него!

Они повалились наземь, схлестнулись и покатились кубарем.

Нет! Дуглас приказал себе ни о чем другом не думать. Нельзя! А потом вдруг… Можно. Почему нет? Да! Потасовка, соударение тел, падение на землю не отпугнуло нахлынувшее море, которое все затопило и вынесло их на травянистый берег в чащу леса. Костяшки пальцев стукнули его по зубам, он ощутил во рту ржавый теплый привкус крови. Он крепко-накрепко сграбастал Тома, и они лежали в тишине. Сердечки колотились, ноздри сопели. И наконец, медленно, опасаясь, что ничего не обнаружится, Дуглас приоткрыл один глаз.

И все, все-превсе оказалось на своем месте.

Подобно огромной радужке гигантского глаза, который тоже только что раскрылся и раздался вширь, чтобы вобрать в себя все на свете, на него уставилась Вселенная.

И он понял: то, что нахлынуло на него, останется с ним навсегда и никуда больше не сбежит.

«Я — живу», — подумал он.

Его пальцы в яркой крови дрожали, как лоскуты диковинного флага, только что обретенного, но доселе невиданного, и он недоумевал, какой стране и какую клятву верности он должен при-

нести. Удерживая Тома, но не осознавая, что это он, Дуглас потрогал свободной рукой кровь, словно надеялся ее сколупнуть, поднял руку и перевернулся. Затем выпустил Тома и лежал на спине с воздетой к небу рукой, а сам стал головой, откуда его глаза, как стражи сказочного замка, таращились сквозь опускную решетку на подъемный мост — его плечо, и пальцы — кровавый пунцовый стяг, колыхались, пронизанные светом.

— Что с тобой, Дуг? — спросил Том.

Его гулкий, потусторонний голос доносился из воды, со дна зеленого замшелого колодца.

Под ним шепталась трава. Он опустил руку, чувствуя, как ее обволакивает онемелость. А далеко внизу поскрипывали в туфлях пальцы ног. В раковинах ушей вздыхал ветер. Перед его стеклянистыми глазными яблоками промелькнула, сверкая картинками, как в искристом хрустальном шаре, вся Вселенная. Рассеянные по лесу цветы заменяли солнце и огненные точки на небе. Птицы промелькнули камнями, запущенными в необъятный свод небес, как в перевернутый вверх дном пруд. Он цедил сквозь зубы воздух, вдыхая лед и выдыхая пламя. Насекомые рассекали воздух с электрической резкостью. Десятки

тысяч волосков на его голове отросли на одну миллионную долю дюйма. Он слышал, как два сердца бьются в его ушах, а третье — в горле. Два сердца пульсируют в запястьях, а настоящее стучит в груди. В его теле раскрывались мириады пор.

— Я на самом деле живу. Я никогда раньше этого не осознавал, а если осознавал, то не запомнил!

Он закричал что есть мочи, но про себя, раз десять! Подумать только, подумать только! Двенадцать лет прожить — и вот только сейчас обнаружить редкий хронометр, золотые часы, с гарантией на семьдесят лет, забытые под деревом и найденные во время потасовки.

— Что с тобой, Дуг?

Дуглас завопил, сграбастал Тома в охапку, и они покатились по земле.

— Ты что, сбрендил, Дуг?

— Сбрендил!

Они покатились под косогор — им в рот влетало солнце, осколками лимонного стекла кололо глаза — и они хватали ртом воздух, как выброшенная на берег форель, хохоча до слез.

— Ты что, совсем спятил, Дуг?

— Нет, нет, нет, нет!

Смежив веки, Дуглас видел пятнистых леопардов, беззвучно крадущихся во тьме.

— Том! — Потом вполголоса: — Том… кто-нибудь в мире… знает, догадывается о том, что он живет?

— Скажешь тоже! Конечно!

Леопарды бесшумно просеменили в более темные края, выходя из его поля зрения.

— Надеюсь, — прошептал Дуглас. — Очень надеюсь, что догадываются.

Дуглас открыл глаза. Над ним возвышался папа на фоне зеленого лиственного неба и смеялся, руки в боки. Их глаза встретились. Дуглас встрепенулся. «Папа знает, — подумал он. — Все так было задумано. Он привел нас сюда с умыслом, чтобы это со мной случилось! Он в этом замешан! Он в курсе всего этого. А теперь он знает, что и я знаю».

Из воздуха возникла рука и схватила его. Поставленный на ноги, вместе с Томом и папой, в синяках, потрепанный, озадаченный, исполненный благоговения, Дуглас бережно поддерживал свои странные локти и не без удовольствия облизывал рассеченную губу. Потом он взглянул на папу и Тома.

— Я сам понесу ведра, — сказал он. — Сегодня я

все беру на себя.

Вопросительно улыбаясь, они вручили ему ведра.

Он стоял, слегка покачиваясь, крепко сжимая в своих отягощенных руках лес, собранный, полновесный и налитой соками. «Я хочу почувствовать все, что только можно, — думал он. — Пусть я устану, я хочу прочувствовать эту усталость. Я не должен забывать, что я — живу, я знаю, что я живу, мне нельзя этого забывать ни ночью, ни завтра, ни послезавтра».

Он шел с тяжелой ношей, чуть хмельной, а за ним тянулись пчелы и ароматы винограда и солнечного лета. Его пальцы в восхитительных мозолях, руки гудят, ноги спотыкаются, и папа хватает его за плечо.

— Нет, — пробормотал Дуглас, — я в порядке, все нормально.

Лишь спустя полчаса улетучился дух трав, корней, камней и коры замшелого бревна, что отпечатались на его руках, ногах и спине. Пока Дуглас в раздумьях, пусть всё это ускользает, растворяется, выветривается. Брат и молчаливый папа шли за ним, чтобы он, как следопыт, сам прокладывал путь сквозь лес, навстречу невероятному шоссе, которое приведет их в город…

III[3]

Итак, спустя некоторое время мы в городе.

И вот очередной урожай.

Дедушка стоит на широком переднем крыльце, словно капитан, обозревающий бескрайнюю полосу недвижного летнего штиля, что прямо по курсу лежит. Он просил ветер, заповедное небо и лужайку, на которой стояли Дуглас и Том, чтобы вопросы задавали только ему.

— Деда, а они уже созрели?

Дед поскреб подбородок.

— Пять сотен, тысяча, две тысячи, как пить дать. Да, да, урожай что надо. Так что за дело, мальчики! Выбирайте всё подчистую! Десять центов за каждый мешок, доставленный на давильню!

— Ура!

Мальчики заулыбались, присели и принялись рвать золотистые цветы, которые наводнили весь мир, выплеснулись из лужаек на мощенные кирпичом мостовые, нежно постукивали в хру-

---

[3] Сноски: 3

Рассказ Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков» («Dandelion Wine», «Gourmet», June 1953).

стальные оконца погребов и так распалились, что отовсюду ослепительно блистало расплавленное солнце.

— Каждый год, — сказал дедушка, — эти желтогривые буянят. Словно на дворе целый львиный прайд. Засмотришься на них, так еще, чего доброго, ожог сетчатки себе схлопочешь. Простецкий цветок, сорняк, на него и внимания никто не обращает. А мы чтим его благородие — одуванчик.

И вот бережно сорванные одуванчики мешками стаскивают вниз. От них во тьме погреба начиналось свечение. Холодная давильня стояла наготове. Лавина одуванчиков ее согрела. Дедушка крутил винт пресса, который плавно сжимал цветки.

— Вот… так…

Золотистая струя — эликсир ясного солнечного месяца — побежала, потом хлынула вниз по желобку в чан. Потом брожение останавливали и разливали в чистые бутылки из-под кетчупа, после чего расставляли их искрящимися рядами во мгле.

Вино из одуванчиков.

Слова имели привкус лета. Вино из одуванчиков — это уловленное и закупоренное в бутылки лето. Теперь, когда Дуглас постиг, что живет и

ходит по белу свету, чтобы все увидеть и потрогать, он обрел новое знание: каждый особенный день жизни необходимо запечатать, чтобы откупорить его в январский день, когда валит снег, а солнце неделями, месяцами напролет не выходит, и, может быть, какое-нибудь чудо, уже забытое, просится, чтобы его освежили в памяти. Раз уж этому лету суждено стать порой нежданных чудес, то пусть его целиком сохранят и наклеят этикетки, чтобы всякий раз, когда ему захочется, он смог бы, протянув руку, погрузиться в сырую тьму.

А там — ряды бутылей с одуванчиковым вином, ласковое сияние распустившихся спозаранку цветков, просвечивающие сквозь тончайшую поволоку пыли лучи июньского солнца. Присмотрись к ним в зимний день — и в проталине покажется травка, в кроны деревьев вернутся птицы, листва и цветы и будут колыхаться на ветру, словно континент бабочек. Присмотрись — и стальное небо засинеет.

Держи лето в ладони, налей лето в стакан, совсем крошечный, разумеется, ведь детям полагается малюсенький глоточек с горчинкой; пригуби лета из бокала — и в твоих жилах переменится время года.

— Готово! Теперь дождевая бочка!

Ничто в мире не заменит чистых вод, призванных из далеких озер и душистых полей травяной предрассветной росы, поднятых на небеса, перенесенных в отстиранных массах на девятьсот миль, потрепанных ветрами, наэлектризованных высоким напряжением, а затем конденсированных холодным воздухом. Эта вода, выпадая дождем, насытила свою кристальность небесами. Взяв что-то от восточного ветра, немного от западного, северного и южного, вода стала дождем, а дождю за этот час, что длилось сие священнодействие, суждено было стать вином.

Дуглас вооружился ковшом, чтобы глубоко зачерпнуть из бочки с дождевой водой.

— Готово!

Вода в чаше шелковистая, прозрачная, шелк с голубым отливом. Она смягчит губы, горло и сердце, если ее отведать. Эту воду должно ему доставить в погреб в ковше или ведерке и излить струями и горными потоками на урожай одуванчиков.

Когда бесновалась вьюга, ослепляя мир, залепляя бельмами снега окна и похищая пар дыхания из разинутых ртов, в один из таких февральских дней даже бабушка исчезала в погребе.

Наверху, в большущем доме, кашляли и чихали, хрипели и стонали, дети температурили, глотки становились красными, как говядина от мясника, а носы — цвета вишневой настойки; микробы, крадучись, лезли во все дыры.

Но вот, восходя из погреба, словно божество Июня, возникала бабушка, явно что-то припрятав под вязаной шалью. Это благоухающее прозрачное нечто разносилось вверх-вниз, по всем комнатам, где царило страдание, и разливалось по стаканам, которые полагалось опрокинуть залпом. Снадобье давешней поры, бальзам солнца и праздных августовских денечков, еле слышных фургонов со льдом на кирпичных мостовых, взмывающих серебристых фейерверков и фонтанирующих газонокосилок, ворошащих муравьиные угодья… и это все-все — в одном стакане!

Да, именно так, даже бабушка, влекомая в погреб Зимы за Июньскими приключениями, способна была молча уединиться в тайном сговоре с душой и духом, равно как и Дедушка, Папа и дядюшка Берт, и любой постоялец, общаясь с канувшим в небытие календарем жизни, с пикниками и теплыми дождиками, ароматами пшеничных полей, свежей воздушной кукурузы

и полегшего сена. Даже Бабушка проговаривала заветные золотистые словеса — причем в тот самый миг, когда цветки высыпали под пресс, и их будут твердить каждую божию белую зиму, из зимы в зиму, до скончания века. Улыбаются губы, которые молвят эти слова, как будто во тьме неожиданно солнечный луч проблеснул.

Вино из одуванчиков. Вино из одуванчиков. Вино из одуванчиков.

* * *

Подступают бесшумно. Убегают беззвучно. Травы жмутся к земле и распрямляются вновь. Промчались, словно тень облаков с косогора… они — мальчишки летней поры.

Дуглас отстал, заблудился. Тяжело дыша, он встал у края оврага, на кромке бездны, откуда дул ветерок. Здесь — его ушки на макушке, как у оленя, — он учуял опасность, первозданную и древнюю, как сама вечность. Здесь разделенный город разламывался пополам. Здесь кончалась цивилизация. Здесь были только заросли, и ежечасно случались мириады смертей. И возрождений.

И здесь были тропинки, проторенные или еще не проторенные, которые свидетельствовали о

том, что мальчишкам необходимо движение, вечное движение, чтобы возмужать.

Дуглас обернулся. Эта тропа, извиваясь большой пыльной змеей, вела к ледяной обители, где зима коротала дни в золотистую летнюю пору. Эта тропа вела к раскаленным, словно из доменной печи, пескам на берегу озера в июле. А та — к деревьям, на которых мальчишки могли расти, как кисленькие зелененькие яблочки-китайки, прячущиеся в листве. А эта — к персиковому саду, виноградной оранжерее, арбузам, возлежащим, как «черепаховые» коты, сморенные солнышком. Эта тропа — заросла, но ужасно извилиста, ведет в школу! Эта — как стрела, прямиком ведет на субботние утренние сеансы про ковбоев. А эта — вдоль речки, ведет в еще не исхоженные загородные пределы…

Дуглас нахмурился.

Кто скажет, где начинается город и кончаются нехоженые тропы? Кто скажет, откуда что берется и кому что принадлежит? Вечно будет существовать расплывчатое непостижимое место, где эти два начала борются, и одно из них побеждает на какое-то время года и воцаряется на какой-нибудь улице, в магазине, в лощине, на дереве, в кустарнике. Волны великого моря

трав и цветов набегают на город, начиная разбег далеко, в чистом поле, вторгаясь все глубже под натиском времени года. Каждую ночь природа, луга, далекие края текли по дну оврага и проникали в город, с собой принося запахи трав и воды, и город, опустошенный, вымирал и возвращался к земле. И каждое утро овраг понемногу подкрадывался к городу, грозя подтопить гаражи, как дырявые лодки, поглотить старые драндулеты, брошенные на произвол дождя, способного облупить их краску, а значит — обречь на ржавчину.

— Эге-ге-гей! Эге-ге-гей! — Джон Хафф и Чарли Вудмен неслись сквозь тайны оврага, города и времени. — Эге-ге-гей!

Дуглас медленно брел по тропе. В овраг и впрямь приходили за двумя жизненно важными вещами — познать нравы человека и постичь устройство природы. Ведь город есть не что иное, как большой корабль, населенный людьми, пережившими крушение, которые вечно снуют, избавляясь от травы, скалывая ржавчину. Время от времени шлюпка или сарайчик, как корабль, затерянный в безмолвном шторме времен года, шли на дно в тихих заводях термитников и муравейников, проваливаясь в горловину оврага, чтобы испытать на себе стрекотание мельте-

шащих кузнечиков, подобное трескотне сухой бумаги, когда ее волокут по горячим сорнякам, чтобы тончайшая пыль поглотила все звуки; и, наконец, чтобы лавиной смолы и черепицы рухнуть, подобно горящим святилищам, в костер, запаленный голубой молнией, запечатлевающей с фотовспышкой торжество дикой природы.

Вот, значит, в чем дело: Дугласа манила тайна (человек отнимает у земли, а земля год за годом отвоевывает у человека), осознание того, что города никогда не побеждают, а просто пребывают в тихом ужасе, сполна оснащенные газонокосилками, брызгалками от жучья и шпалерными ножницами, и остаются на плаву ровно столько, сколько велено цивилизацией, но каждый дом готов навечно провалиться в зеленую пучину, как только с лица земли исчезнет последний человек, а садовые совочки с косилками изойдут кукурузными хлопьями ржавчины.

Город. Природа. Жилище. Овраг. Дуглас переводил взгляд с одного места на другое. Но как соотнести одно с другим, как осмыслить чередование, когда…

Взгляд его упал на землю.

Первый обряд лета — сбор урожая одуванчиков, приготовление вина — совершен. Теперь второй

обряд требовал от него действий, но он стоял как вкопанный.

— Дуг, ну же!.. Дуг!.. — Бегущие мальчики исчезли из виду.

— Я живу, — размышлял Дуглас. — Но что толку? Они живее меня. Как же так? Как же так?

И, стоя в одиночестве, он увидел ответ, разглядывая свои неподвижные ступни…

IV[4]

Поздним вечером, возвращаясь домой из кино с мамой, папой и братишкой Томом, в ярко освещенной витрине магазина Дуглас узрел теннисные туфли. Он тотчас отвел взгляд, но его лодыжки напряглись, ступни на миг зависли в воздухе — и он сорвался с места. Земля завертелась под ногами. От его рывка магазинный навес захлопал холщовыми крыльями. Мама, папа и брат молча шагали по обе стороны от него. Дуглас шел задом наперед, не сводя глаз с теннисок в витрине, покинутых в ночи.

— Хороший фильм, — сказала мама.

— Хороший, — пробормотал Дуглас.

На дворе июнь. Поздно покупать особую обувь, в которой ступаешь по тротуарам беззвучно, как летний дождичек. Июнь — и земля насыщена необузданной силой, и все пришло в движение. Травы еще выплескиваются из пригородов, окружая тротуары, сажая дома на мель. Еще чуть-чуть — и город опрокинется и пойдет ко дну, не

---

[4] Сноски: 4

Рассказ Р. Брэдбери «В воздухе витает лето» («Summer in the Air», Saturday Evening Post, February 18, 1956).

оставив и следа на поверхности клевера и сорняков. А Дуглас оказался в ловушке из мертвого цемента и мощенных красным кирпичом улиц и не мог сдвинуться с места.

— Пап! — выпалил он. — Там, в витрине, теннисные туфли, на кремовой губке…

Отец даже не оглянулся.

— Может, объяснишь, зачем тебе понадобилась новая пара кроссовок? Попробуй-ка!

— Ну…

Потому что в них у тебя такое ощущение, какое возникает каждое лето, как только сбросишь обувь и в первый раз пробежишься по травке. В них такое ощущение, какое бывает, когда высунешь зимой ступни из-под жаркого одеяла на холодный ветер, вдруг подувший из распахнутого окна, и держишь их так, долго-долго, пока снова не запрячешь их под одеяло, чтобы почувствовать, как они превратились в укатанный снег. В теннисках ты чувствуешь себя так же, как каждый год, когда переходишь вброд в медленной воде речку и видишь, что твои ступни теперь оказываются на полдюйма ниже по течению, чем ноги над водой, из-за преломления света.

— Пап, — сказал Дуглас, — это трудно объяснить.

Каким-то образом тем, кто шьет тенниски, известны нужды и желания мальчишек. Они изготавливают подошвы из зефира с пастилой и встраивают в них извилистые пружины, а остальное сплетают из трав, обесцвеченных и опаленных пустыней. Где-то в пластичной глине кроссовок запрятаны тонкие прочные оленьи жилы. Те, кто делает тенниски, наверное, долго следили за ветрами, качающими кроны деревьев, за реками, впадающими в озера. Так оно или нет, но что-то такое заложено в кроссовки, и это нечто есть лето.

Дуглас силился выразить все это словами.

— Ладно, — сказал папа, — а что не так с прошлогодними теннисками? Что тебе мешает откопать их в шкафу?

Ах, можно только пожалеть мальчишек в Калифорнии, где тенниски носят круглый год и даже не представляют себе, что значит отряхнуть с ног зиму, сковырнуть железные кожаные ботинки, набитые снегом, налитые дождем, и побегать денек босоногим, а после зашнуровать первые новенькие тенниски в этом году — а это даже лучше, чем бегать босиком. Очарование всегда заключается в новой паре туфель. К первому сентября оно, пожалуй, потускнеет, но в конце

июня его еще хватает с лихвой: в таких теннисках можно прыгать через деревья, реки и дома. А если захотеть, то и через заборы, тротуары и даже собак!

— Почему ты не хочешь понять, — вопрошал Дуглас, — что ходить в прошлогодних кроссовках просто невозможно?!

Прошлогодние изнутри уже омертвели. Они были превосходны, когда он начал их носить в прошлом году. Но каждый год к исходу лета ты всегда обнаруживаешь, нет, ты всегда знал, что не сможешь в них перемахивать через реки, деревья и дома, ибо они омертвели. А этот год — новый, и он чувствовал, что на этот раз в новой паре обуви ему будет под силу все на свете.

Они поднимались по ступенькам своего дома.

— Прибереги свои деньги, — посоветовал папа. — Через пять-шесть недель…

— Лето же кончится!

В темноте Том уснул, а Дуглас лежал, разглядывая свои ступни в лунном свете, далеко, на том краю кровати, избавленные от железных ботинок — громоздких глыб зимы.

— Причины. Нужно придумать, почему мне до зарезу нужны тенниски.

Как всем известно, на холмах вокруг города ца-

рило неистовство дружков-приятелей, которые доводили коров до истерики, приспосабливали барометр к атмосферным изменениям, загорали, облезали, как отрывные календари, чтобы снова позагорать. Чтобы их поймать, нужно было бегать быстрее белок и лисиц. А город прямо-таки ошалел, раздраженный зноем, и поэтому припоминал каждую зимнюю ссору и обиду. *Находи друзей, вали недругов*! Вот девиз производителя теннисных туфель на кремовой губке. *Все в мире бежит, ускоряясь? Хочешь догнать? Хочешь быть начеку? — Будь начеку! Носи теннисные туфли на кремовой губке*!

Он поднял свою копилку и услышал слабый перезвон легковесных монет.

«Чего бы ты ни хотел, — думал он, — ты должен добиваться сам. А теперь поищем тропинку в ночном лесу…»

В городе одна за другой гасли витрины. В окно задувал ветер. Похоже было на сплав вниз по течению реки, и ему захотелось окунуть ноги в воду.

Во сне он слышал, как в высокой траве бежит, бежит, бежит кролик.

* * *

Пожилой мистер Сандерсон расхаживал по своему обувному пассажу, будто хозяин зоомагазина, населенного животными со всех концов света, и ласкал на ходу каждого обитателя. Мистер Сандерсон гладил туфли, выставленные в витрине, которые напоминали ему котов или собак. Он заботливо прикасался к каждой паре, поправляя шнурки и язычки. Затем он встал в самом центре ковра и, довольно кивая, огляделся по сторонам.

Приближались раскаты грома.

Вот в дверях магазина Сандерсона никого нет, а вот — уже возник Дуглас Сполдинг и неуклюже переминается с ноги на ногу, опустив глаза на свои кожаные ботинки, словно они неуклюже увязли. Гром перестал греметь, когда замерли его башмаки. Теперь, с болезненной медлительностью, осмеливаясь смотреть только на деньги, зажатые в кулачке, Дуглас выступил из яркого света субботнего полдня. Он аккуратно расставил на прилавке столбики из пятицентовиков, десятицентовиков и четвертаков, как шахматист, озабоченный тем, что следующий ход может вывести его на солнечную сторону, а может — в глубокую тень.

— Ни слова! — скомандовал мистер Сандерсон.

Дуглас остолбенел.

— Во-первых, я знаю, что ты хочешь купить, — сказал мистер Сандерсон. — Во-вторых, я вижу тебя каждый день перед моей витриной. Думаешь, я не замечаю? Ошибаешься. В-третьих, называя вещи их полными именами, ты пришел за теннисными туфлями на сливочной губке — «Королевская корона» — «МЕНТОЛ ДЛЯ ВАШИХ СТУПНЕЙ!». В-четвертых, тебе нужен кредит.

— Нет, — вскричал Дуглас, задыхаясь, словно всю ночь во сне мчался куда-то. — Я могу предложить кое-что получше кредита, — выпалил он. — Но сперва, мистер Сандерсон, сделайте мне маленькое одолжение: не вспомните ли вы, когда в последний раз вы сами надевали кроссовки «Королевская корона»?

Мистер Сандерсон помрачнел.

— Ах, десять, двадцать лет тому назад, может, тридцать. А что?..

— Мистер Сандерсон, не находите ли вы, что должны уважить своих покупателей и хотя бы на минутку примерить тенниски, которые продаете, чтобы знать, каково в них? Если не пробовать этого, то так и забывается. Курит же сигары про-

давец сигарного магазина? Наверняка продавец сладостей из кондитерской пробует свои конфетки. Так что…

— Ты, наверное, заметил, — сказал старик, — что я, вообще-то, обут.

— Но не в тенниски, сэр! Как вы будете продавать тенниски, если вы не сходите по ним с ума, и как вы будете сходить по ним с ума, если вы с ними не водитесь?

От мальчишечьей горячности мистер Сандерсон слегка отпрянул, взявшись за подбородок.

— Н-ну…

— Мистер Сандерсон, — сказал Дуглас, — продайте мне кое-что, а я вам — кое-что равноценное.

— Неужели, чтобы продать тенниски, их непременно надо носить, сынок? — полюбопытствовал старик.

— Мне бы ужасно этого хотелось, сэр!

Старик вздохнул. Спустя минуту, кряхтя, потихоньку, он зашнуровывал тенниски на своих длинных узких ступнях. На фоне черных манжет его делового костюма они смотрелись отстраненно и чуждо. Мистер Сандерсон встал.

— Как они вам? — спросил мальчик.

— Он еще спрашивает, как они мне! Превос-

ходно!

Он собрался присесть.

— Пожалуйста! — Дуглас простер к нему руку. — Мистер Сандерсон, а теперь покачайтесь вперед-назад, попереминайтесь с ноги на ногу, попрыгайте, а я тем временем расскажу вам остальное. Так вот: я даю вам деньги, а вы мне — кроссовки, и я еще остаюсь вам должен один доллар. Но зато, мистер Сандерсон, зато… как только я надену тенниски, знаете, что тогда произойдет?

— Что?

— Бум! Я буду забирать и доставлять ваши посылки, приносить кофе, жечь мусор, бегать на почту, на телеграф, в библиотеку! Каждый миг я буду мелькать туда-сюда, туда-сюда: вы увидите дюжину Дугласов. Только почувствуйте эти тенниски, мистер Сандерсон, видите, каким быстроногим я стану? Со всеми пружинами внутри. Почуяли внутри себя бег? Почуяли, как они захватывают вас? Лишают покоя, не желая, чтобы вы просто стояли на месте? Посмотрите, как быстро я справлюсь с делами, которыми вам неохота заниматься! Вы находитесь в своем прохладном магазине, а я тем временем ношусь взад-вперед по всему городу! Но на самом деле я тут ни при

чем, это все они, кроссовки, как угорелые, мчатся по переулкам, срезая углы, и возвращаются обратно! Так-то!

От такого словесного натиска мистер Сандерсон аж разинул рот. Ураган слов подхватил и понес его. Он стал все глубже погружаться в тенниски, шевелить пальцами ног, разминать подошвы ступней и лодыжки. Его тайком, незаметно раскачивало дуновение ветерка из дверного проема. Тенниски беззвучно впечатывались в ковер, утопали, словно в травах джунглей, в суглинке и упругой глине. Он внушительно топнул пяткой, погруженной в дрожжевое тесто, в податливую приветливую почву. По его лицу промчался ураган эмоций, как будто замельтешили бесчисленные разноцветные лампочки. Рот приоткрылся. Медленно-медленно он перестал раскачиваться, голос мальчика стал затухать, и они стояли, уставясь друг на друга в звенящей первозданной тишине.

По разогретому тротуару мимо прошагали несколько пешеходов. Старик и мальчишка так и стояли не шелохнувшись. Мальчуган — сияющий, старик — просветленный.

— Мальчик, — промолвил наконец старик, — а как насчет того, чтобы через пять лет заняться

продажей обуви в этом магазине?

— Спасибо, мистер Сандерсон, но я еще не решил, кем хочу стать.

— Ты станешь, кем захочешь, — сказал старик. — Никто тебе не сможет помешать.

Старик легкой походкой прошествовал по магазину до стены, сложенной из десятка тыщ коробок, принес несколько пар мальчику и составил список на листке бумаги, пока тот зашнуровывал свои тенниски, а потом стоял в ожидании.

Старик протянул ему бумажку.

— Сегодня тебе предстоит выполнить с дюжину поручений. Справишься с ними — и мы в расчете. После чего ты свободен.

— Спасибо, мистер Сандерсон! — Дуглас сорвался с места.

— Стой! — вскричал старик.

Дуглас притормозил и обернулся.

Мистер Сандерсон подался вперед.

— Какие ощущения?

Мальчик взглянул на свои ступни, утопающие в глубоких реках, в пшеничных полях и ветрах, которые уже выдували его из города. Он поднял горящие глаза на старика, его губы беззвучно зашевелились.

— Антилопы? — спросил старик, переводя взгляд со своих туфель на кроссовки мальчика. — Газели?

Мальчик задумался, посомневался, ответил отрывистым кивком. И тотчас пропал. Зашептал, крутанулся — и исчез. Шелест кроссовок растворился в зное джунглей.

Мистер Сандерсон так и остался стоять в залитом солнцем дверном проеме, прислушиваясь. Он вспомнил этот шелест из далекого прошлого и мальчишеских мечтаний. Прекрасные создания взлетают до небес, пронизывают чащобу под кронами деревьев, оставляя после себя лишь неуловимое эхо.

— Антилопы, — подтвердил мистер Сандерсон. — Газели.

Он нагнулся, чтобы подобрать брошенные зимние ботинки мальчика, отягощенные ливнями и давно стаявшими снегами. Уходя от раскаленного солнца, ступая легко и плавно, он не спеша вернулся в лоно цивилизации…

V

Дуглас достал пятицентовый блокнот с желтыми листами и желтый карандаш «Тикондерога». Он открыл блокнот и лизнул грифель.

— Том, — сказал он, — ты со своей статистикой подсказал мне одну мысль. Я решил делать то же самое. Буду следить за событиями. Например, тебе не приходило в голову, что каждое божье лето мы делаем то же, что и в прошедшее?

— Например, Дуг?

— Ну, скажем, делаем вино из одуванчиков, покупаем новые кроссовки, запускаем первый фейерверк в году, готовим лимонад, занозим себе ноги, собираем лисий виноград. Каждый год — одно и то же. Никаких перемен, никакой разницы. Это тебе первая половина лета, Том.

— А что во второй половине?

— То, что происходит впервые в жизни.

— Например, когда попробуешь маслин?

— Гораздо важнее. Например, оказывается, что дедушка и папа знают далеко не все на свете.

— Они знают все, что нужно знать, заруби себе на носу!

— Том, не спорь. Это уже записано у меня в графе «Открытия и откровения». Они знают не все. И ничего в этом плохого нет. Это я тоже выяснил.

— Какая еще новая бредятина пришла тебе в голову?

— Я живу.

— Тоже мне новость!

— Когда начинаешь над этим задумываться, обращать на это внимание — вот что ново. Мы делаем что-то, сами того не замечая. Потом вдруг, на́ тебе, смотришь, а это и впрямь впервые! Я поделю лето на две половины. Первая озаглавлена «Обряды и обычаи». Первая в году шипучка. Первая пробежка босиком по траве. Первый раз чуть не утоп в озере. Первый арбуз. Первый комар. Первый урожай одуванчиков. Все это мы делаем, даже не замечая. А в конце блокнота, как я уже сказал, «Открытия и откровения», а может, «Озарения» — вот отличное словечко. Или «Предчувствия», годится? Короче, ты занимаешься каким-нибудь привычным делом, скажем, разливаешь по бутылкам вино из одуванчиков, а потом вписываешь это в графу «Обряды и обычаи». Потом ты задумываешься об этом и все свои мысли, неважно, бредовые или нет, записыва-

ешь в графу «Открытия и откровения». Вот что у меня написано про вино: «Каждый раз, когда ты разливаешь его в бутылки, ты сохраняешь целый кусок лета тысяча девятьсот двадцать восьмого года». Что скажешь, Том?

— Я уже запутался.

— Тогда я прочитаю тебе другую запись в начале блокнота — «Обряды». Вот: «Первые пререкания с папой и взбучка летом тысяча девятьсот двадцать восьмого года, утром двадцать четвертого июня». А в конце блокнота в разделе «Откровения» я записал: «Взрослые не ладят с детьми, потому что они из разного рода-племени. Взгляни на них — они от нас отличаются. Взгляни на нас — мы отличаемся от них. Чуждые расы: «и вместе им не сойтись»[5]. Намотай себе на ус, Том!

— В самую точку, Дуг, прямо в яблочко! Так оно и есть! Вот почему мы не ладим с мамой и папой. С этими родителями с утра до вечера одна морока. Да ты просто гений!

— Если за три месяца заметишь что-то такое, что повторяется, дай мне знать. Подумай и скажи.

---

[5] Сноски: 5

Двенадцатилетний Дуглас цитирует «Балладу о Востоке и Западе» Р. Киплинга: «Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet».

Ко Дню труда мы подведем итоги лета и посмотрим, что получится.

— У меня тут для тебя припасена кое-какая статистика. Бери карандаш, Дуг. Во всем мире растут пять миллиардов деревьев. Я заглядывал в справочник. Под каждым деревом — тень. Так? Откуда, значит, берется ночь? Так вот, я тебе скажу: тени выползают из-под пяти миллиардов деревьев! Подумать только! Тени носятся в воздухе и мутят воду, так сказать. Если бы мы придумали, как попридержать эти тени под пятью миллиардами деревьев, мы могли бы полночи не спать, Дуг, потому что никакой ночи не было бы в помине! Вот тебе, пожалуйста, что-то старое, что-то новое.

— Да уж, хватает и старого, и нового. — Дуглас лизнул желтый карандаш «Тикондерога», название которого ему ужасно нравилось. — Повторика еще разок!

— Под пятью миллиардами деревьев лежат тени…

VI[6]

Да, лето — пора обрядов, и у каждого — свое законное время и место. Обряд приготовления лимонада и ледяного чая, обряд вина, обряд приобретения или неприобретения туфель и, наконец, следом за остальными, исполненный чувства молчаливого достоинства — обряд подвешивания качелей на веранде.

На третий день лета, под вечер, дедушка в очередной раз вышел из передней двери, чтобы окинуть безмятежным взглядом два пустых кольца в потолке веранды. Подойдя к ограждению веранды, увешанному горшками с геранью, подобно капитану Ахаву, наблюдающему за погожим днем и ясным небом, он послюнил палец, чтобы поймать ветер, и снял пиджак, чтобы почувствовать, каково ему будет в коротких рукавах в предзакатные часы. Он ответил на приветствия других капитанов на соседних верандах с цветами, которые тоже вышли разведать, не предвидится ли каких незначительных перемен

---

[6] Сноски: 6

Рассказ Р. Брэдбери «Сезон посиделок» («The Season of Sitting», «Charm», August 1951).

погоды, не обращая внимания на щебетание своих женушек или их возгласы, напоминавшие возмущение мохнатых болонок, которые прячутся за черными сетками веранд.

— Годится, Дуглас, давай их прилаживать.

В гараже они нашли, почистили от пыли и вытащили наружу «паланкин» для нешумных празднеств летними вечерами — качели, которые дедушка подвесил на цепях к кольцам в потолке.

Дугласу, как более легонькому по весу, довелось испытать качели первым. Затем к нему дедушка осторожно добавил свой патриарший вес. Так они и сидели, улыбаясь и кивая друг другу, тихо раскачиваясь взад-вперед, взад-вперед.

Спустя десять минут появилась бабушка с ведрами воды и метлами — подмести и помыть полы на веранде. Из дома были призваны на службу кресла, качалки и стулья с прямыми спинками.

— Посиделки на веранде нужно начинать в самом начале лета, — изрек дедушка, — пока комары не донимают.

Около семи, если встать у окна гостиной, послышится скрежет стульев, отодвигаемых от столов. Кто-то пытается тренькать на пианино с пожелтевшими клавишами. Чиркают спички,

первые тарелки попадают с бульканьем в пенистую воду и, звякая, занимают свои места на стенных стеллажах, откуда-то слабо доносятся звуки патефона. А затем, когда наступает другой вечерний час, на сумеречных улицах, то у одного, то у другого дома, под сенью гигантских дубов и вязов, на тенистые веранды выходят люди, словно фигурки на часах, предсказывающие хорошую или плохую погоду.

Дядюшка Берт, а может, дедушка, потом папа и кое-кто из кузенов; сначала выходят все мужчины навстречу сладостному вечеру, в клубах дыма, оставляя позади женские голоски в остывающей теплой кухне наводить порядок в своем мирке. Потом слышатся первые мужские голоса под навесом веранды, ноги задраны вверх, мальчишки облепили истертые ступеньки или деревянные перила, с которых за вечер обязательно плюхнется либо мальчишка, либо горшок с геранью.

Наконец, подобно призракам, маячащим за дверной сеткой, появляются бабушка, прабабушка и мама, и мужчины придут в движение, встанут, уступая место. Женщины обмахиваются разнообразными веерами, сложенными газетами, бамбуковыми венчиками или надушенными платками и ведут беседы.

На следующий день никто не помнил, о чем они толковали весь вечер. Никого не интересовало, о чем говорили взрослые; главное, что их голоса плыли поверх нежных папоротников, окаймлявших веранду с трех сторон. Главное, чтобы темнота наполнила город, как черная вода, разлитая над домами, чтобы сигары тлели, общение не смолкало. Дамские сплетни растревожили первых комаров, и они неистово отплясывали в воздухе. Мужской говор проникал в древесину старого дома. Если закрыть глаза и прижаться ухом к половицам, можно принять его гул за рокот далеких политических потрясений, то нарастающий, то угасающий.

Дуглас откинулся на сухие доски веранды, всецело довольный и обнадеженный этими разговорами, которые будут звучать целую вечность, зажурчат над ним, над его смеженными веками, в его сонные уши. Кресла-качалки стрекотали, как сверчки, сверчки стрекотали, как кресла-качалки, а замшелая бочка с дождевой водой возле окна гостиной служила питомником очередному поколению мошкары и темой для пересудов аж до конца лета.

Посиделки на веранде летними вечерами доставляли такое удовольствие, блаженство и

умиротворение, что от них ни в коем случае невозможно было отказаться. Это был строгий и незыблемый обычай. Раскуривание трубок, вязальные иглы в бледных пальцах, поглощение холодного, обернутого в фольгу эскимо, хождение всякого люда взад-вперед в сумерках. Ведь по вечерам все гостили друг у друга. Соседи поодаль и соседи напротив. Мисс Ферн и мисс Роберта могли прожужжать мимо в своем электрическом экипаже, прокатить Тома или Дугласа по кварталу, а потом посидеть со всеми, прогоняя веерами волнение с раскрасневшихся щек. Или, оставив лошадь и фургон в переулке, по ступенькам мог подняться старьевщик мистер Джонас, готовый разразиться словесами, выглядевший свежо, словно он ни разу еще не выступал со своими речами, что, впрочем, так и было. Наконец, все-все дети, игравшие последний кон в прятки или «выбей банку», разгоряченные, тяжело дыша, тихо приземлялись, как бумеранги, на притихшую лужайку, на которой приходили в себя и успокаивались под непрерывный гомон голосов с веранды…

О, какое наслаждение возлежать в травянистой папоротниковой ночи шелестящих, убаюкивающих голосов, сплетающих тьму. Дуглас приникал

к земле так тихо и неподвижно, что взрослые забывали о его присутствии и строили планы на его и свое будущее. Голоса звучали нараспев, плыли в клубах сигаретного дыма, пронизанных лунным светом, как оживший запоздалый яблоневый цвет, как мотыльки, постукивающие в уличные фонари, и продолжали звучать, уходя в грядущие годы.

VII

Перед табачным магазином в тот вечер собрались люди, чтобы жечь дирижабли, топить линкоры, взрывать динамит и отведать своим фарфоровым ртом бактерий, которые в один прекрасный день их прикончат. Смертоносные тучи, что маячили в их сигарном дыму, обволакивали сумрачный силуэт некоего взвинченного человека, который прислушивался к лязгу совков и лопат и настроениям вроде «прах к праху, пепел к пеплу»[7]. Этот силуэт принадлежал городскому ювелиру Лео Ауфману, который, расширив водянистые темные глаза, наконец всплеснул своими детскими руками и исторг возглас отчаяния:

— Довольно! Ради всего святого, вылезайте из этого кладбища!

— Лео, как же вы правы, — сказал дедушка Сполдинг, вышедший на вечернюю прогулку с внуками Дугласом и Томом. — Но знаете, Лео, только вы способны заставить замолчать этих провозвестников конца света. Придумайте что-нибудь этакое, что сделает будущее светлым,

[7] Сноски: 7
Бытие, 3:19.

гармоничным, бесконечно радостным. Вы же изобретаете велосипеды, починяете игральные автоматы, работаете нашим городским киномехаником!

— Точно! — подхватил Дуглас. — Изобретите для нас машину счастья!

Все засмеялись.

— Прекратите, — перебил их Лео Ауфман. — Для чего мы до сих пор использовали машины? Чтобы причинять людям горе! Именно! Всякий раз, когда кажется, что человек и машина наконец поладят, как — ба-бах! Кто-нибудь присобачит какую-нибудь загогулину, и на́ тебе — аэропланы мечут бомбы, автомобили летят вместе с нами с утесов. Так неужели просьба мальчика неуместна? Нет! И еще раз нет!

Голос Лео Ауфмана затихал по мере того, как он шел к бордюру, чтобы погладить свой велосипед, словно живое существо.

— Что я теряю? — бормотал он. — Немного ободранной с пальцев кожи? Немного сна? Несколько фунтов металла? Справлюсь, с божьей помощью!

— Лео, — вмешался дедушка, — мы не хотели…

Но Лео Ауфман уехал, крутя педали в теплой летней ночи. До них доносился его голос:

— Я справлюсь…
— Справится, как пить дать, — восхитился Том.

VIII[8]

Когда Лео Ауфман катил на велосипеде по кирпичным мостовым, можно было заметить, что он получает удовольствие от сломанного чертополоха в горячей траве, когда ветер дул как из печки, или от проводов, искрящих на мокрых столбах. Бессонными ночами он не страдал, а получал удовольствие от размышлений о великих вселенских часах: кончается ли в них завод или они самозаводятся. Как знать! Но, прислушиваясь по ночам, он приходил то к одному выводу, то к противоположному…

«Удары судьбы, — думал он, крутя педали, — что они из себя представляют? Рождение, взросление, старение, смерть. С первым ничего не поделаешь, а с остальными тремя?»

Колеса его Машины счастья вращались, отбрасывая снопы золотистого света на потолок. Машине суждено помочь мальчишкам сменить пушок на щетину, а девочкам превратиться из гадких утят в лебедушек. А в годы, когда твоя тень

---

[8] Сноски: 8

Рассказ Р. Брэдбери «Машина счастья» («The Happiness Machine», «Saturday Evening Post», September 14, 1957).

ложится на землю, когда ты прикован к постели и по ночам твое сердце бешено колотится, его изобретение поможет тебе легко уснуть под листопадом, подобно мальчишкам, которые, прыгая осенью в груды жухлых листьев, согласны стать частью тлена и смерти в этом мире…

— Папа!

Шестеро его детей: Саул, Маршалл, Иосиф, Ребекка, Руфь и Наоми, от пяти до пятнадцати лет от роду, — пробежали через лужайку за его велосипедом, и каждый коснулся его.

— Мы тебя заждались. У нас есть мороженое.

Шагая к веранде, он угадывал улыбку жены, сидящей в темноте.

Пять минут поедания миновали в уютной тишине, затем, держа полную ложку мороженого лунного оттенка, словно тайну Вселенной, которую следовало бережно познать, он спросил:

— Лина? Что бы ты сказала, если бы я взялся за изобретение Машины счастья?

— Что-то стряслось? — мгновенно отреагировала она.

* * *

Дедушка шел домой с Дугласом и Томом. На полпути Чарли Вудмен, Джон Хафф и еще какие-

то мальчишки промчались мимо, как метеорный рой. Их притяжение было так сильно, что они оторвали Дугласа от дедушки и Тома и увлекли его в сторону оврага.

— Смотри не заблудись, сынок!

— Нет… нет…

Мальчишки нырнули во тьму.

Том и дедушка прошли оставшуюся часть пути молча, разве что когда они оказались дома, Том сказал:

— Ух ты, Машина счастья — вот это да!

— Не очень-то обольщайся на сей счет, — посоветовал дедушка.

Часы на здании суда пробили восемь.

IX[9]

Часы на здании суда пробили девять, становилось поздно, настоящая ночь опускалась на крохотную улочку маленького города в большом штате на огромном континенте планеты Земля, падающей в воронку космоса навстречу ничему или чему-то, и Том ощущал каждую милю этого грандиозного падения. Он сидел возле москитной сетки, всматриваясь в несущуюся на него черноту, которая выглядела вполне безобидно, словно неподвижно застыла. Только когда закроешь глаза и ляжешь, почувствуешь круговерть Вселенной под твоей кроватью, и уши зальет море черноты, которое подступило и разбивается о скалы, которых нет.

Запахло дождем. У Тома за спиной мама занималась глажкой и брызгала водой из бутылки с пробкой на потрескивающую одежду.

В соседнем квартале все еще работал магазин миссис Зингер.

Наконец, незадолго до того, как магазину миссис Зингер пришла пора закрываться, мама

---

[9] Сноски: 9
Рассказ Р. Брэдбери «Ночь» («The Night» «Weird Tales», July 1946).

смилостивилась и сказала Тому:

— Сбегай, принеси пинту мороженого, да скажи ей, чтобы поплотнее утрамбовала.

Он спросил, можно ли полить мороженое шоколадом, потому что не любил ванильное, и мама разрешила. Он сжал в кулачке деньги и побежал босиком в магазин по теплому вечернему цементу тротуара, под сенью яблонь и дубов. В городе царила такая тишина и отстраненность, что слышен был только стрекот сверчков в пространствах за теплыми иссиня-черными деревьями, подпиравшими звездное небо.

Его голые пятки шлепали по мостовой. Он перебежал улицу и нашел миссис Зингер, неуклюже передвигавшуюся по магазину, напевая мелодии на идише.

— Пинту мороженого и полить шоколадом? — спросила она. — Готово!

Он наблюдал, как она неловко обращается с металлической крышкой ледника для мороженого, с мерной ложкой, битком набивая картонную коробку. Он протянул ей деньги, получил ледяную коробку и, обтирая ею лоб и щеки, хохоча, пошлепал босиком домой. У него за спиной выключились огни магазина, и только уличный фонарь мигал на углу, а весь город, казалось,

готовился отходить ко сну.

Открыв москитную сетку, он обнаружил маму по-прежнему за глажкой. Она выглядела разгоряченной и раздраженной, но все равно улыбалась.

— Когда же папа вернется с собрания ложи[10]? — спросил он.

— В одиннадцать, в половине двенадцатого, — ответила мама.

Она отнесла мороженое на кухню, выделила ему особую порцию шоколада, взяла себе, а остальное убрала.

— Дугласу и папе, когда придут.

Они наслаждались мороженым посреди глубокой летней ночи. Мама, он и ночь вокруг их домика на маленькой улице. Он тщательно облизывал каждую ложку мороженого, прежде чем взять новую порцию, а мама отодвинула гладильную доску, оставила раскаленный утюг остывать на открытом месте, устроилась в кресле возле патефона, поедая свой десерт, и сказала:

— Боже мой, знойный же выдался сегодня денек. Земля впитывает все тепло, а ночью возвращает. Спать будем, обливаясь потом.

---

[10] Сноски: 10

Предположительно речь о масонской ложе ритуала «Одд Феллоуз».

Они прислушивались к ночи, подавленные каждым окном, дверью и полной тишиной, потому что батарейка в радиоприемнике подсела, а все пластинки — «Квартет Никербокер», Эл Джолсон и «Две черные вороны» — были заезжены донельзя. Поэтому Том сидел на дощатом полу и смотрел во тьму, расплющив нос о сетку, пока кончик носа не оказался испещрен крошечными темными квадратиками.

— Куда это Дуг запропастился? Уже почти половина десятого.

— Придет, — сказал Том, зная наверняка, что так и будет.

Он пошел вслед за мамой мыть посуду. Каждый звук, звон ложки, тарелки усиливался в раскаленной ночи. Они молча пошли в гостиную, сняли подушки с дивана-кровати, вместе превратили его в двуспальную кровать, которой она втайне и была. Мама постелила постель, аккуратно взбила подушки, чтобы голове было мягко. Затем, когда он уже расстегивал рубашку, мама сказала:

— Подожди, Том.

— Зачем?

— Так надо.

— Странный у тебя вид, мама.

Мама присела на мгновение, потом встала,

подошла к окну и позвала. Он слушал, как она опять и опять зовет и зовет:

— Дуглас, Дуглас, ах, Дуг! Дууууглаааас!

Ее зов уплывал в теплую летнюю тьму и не возвращался. Эхо оставалось безучастным.

Дуглас. Дуглас. Дуглас.

Дуглас!

Он сел на пол, и холодок, пробежавший по Тому, не был сродни мороженому, зиме, летней жаре. Он заметил, что мама помаргивает. Ее фигура выражала нерешительность, волнение. И все такое прочее.

Она отворила москитную сетку. Выйдя навстречу ночи, она спустилась по ступенькам и вышла на тротуар под кустом сирени. Он прислушивался к ее шагам.

Она снова позвала.

Тишина.

Она позвала еще два раза. Том сидел в комнате. В любой момент Дуглас откликнется с того конца длиннющей узкой улицы:

— Мама, все в порядке! Мама! Мама!

Но он не откликался. Две минуты Том сидел, глядя на приготовленную постель, на притихшее радио, молчащий патефон, на люстру с тихо светящимися хрустальными веретенами, на ковер с

алыми и лиловыми завитками. Он пнул пальцем ноги кровать, нарочно, посмотреть, будет ли больно. Было больно.

Открываясь, москитная сетка застонала, и мама сказала:

— Том, давай пройдемся.

— Куда?

— По кварталу. Пошли.

Он взял ее за руку. Вместе они прошли Сент-Джемс-стрит. Бетон под ногами был все еще теплым, и сверчки стрекотали громче в темнеющей тьме. Они дошли до угла, повернули и зашагали к Западному оврагу.

Где-то вдали, сверкнув фарами, проплыл автомобиль. Вокруг царили полнейшая безжизненность, кромешная тьма и оцепенение. Позади то тут, то там, где еще не спали, маячили квадратики света. Но в большинстве домов уже погасили свет и уснули, оставались несколько затемненных мест, где обитатели жилищ вели приглушенные ночные разговоры на верандах. Проходя мимо, можно было услышать скрип качелей.

— Где же твой папа? — сказала мама.

Ее большая рука сжала его маленькую руку.

— Ох и устрою я взбучку этому мальчишке! Неприкаянный опять рыщет по округе, убивает

людей. Никто уже не чувствует себя в безопасности. Черт его знает, этого Неприкаянного, когда он объявится или где. Пусть только Дуг доберется до дому, я его до полусмерти исколошмачу.

Они прошагали еще один квартал и стояли возле черных очертаний немецкой баптистской церкви на углу Чапел-стрит и Глен-Рока. За церковью, в сотне ярдов, начинался овраг. Он учуял его запах — вонь канализации, прелой листвы и зеленой плесени. Широкий извилистый овраг рассекал город. Днем он был джунглями, а ночью его следовало обходить стороной, как частенько говаривала мама.

Близость немецкой баптистской церкви отнюдь не вселяла в него уверенность, потому что здание было темным, холодным и бесполезным, как груда развалин на краю оврага.

Ему минуло десять лет. Он мало знал о смерти, ужасе или страхе. Смерть для него олицетворяла восковая фигура в гробу, когда ему было шесть лет и скончался прадедушка, похожий на большого павшего грифа, тихий, отстраненный, больше не призывающий его быть послушным мальчиком, больше не отпускающий метких замечаний о политике. Смерть — это его маленькая сестренка однажды утром, когда ему было семь лет; он

проснулся, заглянул в ее колыбельку и увидел взгляд ее слепых, остекленевших голубых глаз. Потом пришли мужчины с плетеной корзинкой и унесли ее. Смерть — это ее высокое детское кресло, когда он стоял рядом спустя четыре недели и вдруг осознал, что она никогда уже не будет в нем сидеть, смеяться и плакать и вызывать в нем ревность своим появлением на свет. Вот чем была смерть. А еще смертью был Неприкаянный, невидимка, гуляющий или стоящий за деревьями, выжидающий где-то за городом, чтобы нагрянуть один или два раза в году в город, на эти улицы, в неосвещенные места, чтобы убить одну, две, три женщины за последние три года. Вот что значила для него смерть…

Но это было больше, чем смерть. Эта бездонная звездная летняя ночь воплощала все, что ты когда-либо ощутишь, увидишь или услышишь в своей жизни, все сразу.

Сойдя с тротуара, они стали на проторенную каменистую тропу, окаймленную травами, и сверчки хором врубили на полную мощь свою барабанную дробь. Он покорно шел следом за смелой, изящной, высокой мамой — заступницей Вселенной. Вместе они достигли последнего рубежа цивилизации и остановились.

Овраг.

Вот на дне этого провала с тягучей чернотой неожиданным образом оказалось все, что ему не суждено было ни познать, ни постичь; всё, чему не было ни имени, ни прозвания, обитало в тени скученных деревьев среди запахов тлена и разложения.

Он понял, что они с мамой остались одни.

Ее рука дрожала.

Он ощущал ее дрожание… Почему? Ведь она крупнее, сильнее, умнее, чем он. Неужели и она чуяла неосязаемое зло, выпускающее щупальца из тьмы, стелющееся по земле? Значит, взросление не делает человека сильнее? Нет утешения во взрослении? Нет в жизни убежища? Нет прочной плотской твердыни, способной выстоять перед ночью? Его обуревали сомнения. Мороженое опять ожило у него в горле, в желудке, спине и ногах-руках; его мгновенно сковал декабрьский холод.

Он понял: все люди такие, каждый сам по себе, один-одинешенек. Единица общества, но в постоянном страхе. Как сейчас. Если ему нужно будет закричать, возопить о помощи, какой от этого толк?

Чернота могла свалиться мигом и заглотить;

в одно леденящее мгновение все будет кончено. Задолго до рассвета, задолго до того, как полиция придет и начнет тыкать лучами фонариков в темноту растревоженной тропы, задолго до того, как люди с дрожащими мозгами спустятся по галечнику на подмогу. Даже если они находятся в пяти сотнях ярдов и помощь придет *наверняка*, черная волна в три секунды вздыбится и отберет все десять лет его жизни и…

Воздействие одиночества в жизни раздавило его начинающее трепетать тело. Мама тоже одинока. Она не может надеяться на святость брака, на защиту семьи, на Конституцию Соединенных Штатов или городскую полицию. В сей миг она не могла возложить надежду ни на что, кроме своего сердца, но там она ничего не найдет, кроме безудержного отвращения и желания бояться. В тот момент это была отдельная задача, требующая отдельного решения. Отныне он должен смириться со своим одиночеством.

Он сглотнул слюну и схватился за маму. «Боже, не дай ей умереть, умоляю тебя, — думал он. — Не причиняй нам зла. Папа возвращается с собрания ложи через час, и если дома будет пусто…»

Мама спускалась по тропе в чащу первозданных джунглей. Его голос дрожал.

— Мама, с Дугом все в порядке, все в порядке. С ним все хорошо, все хорошо!

Мамин взволнованный голос срывался на высокие нотки.

— Вечно он ходит по этой дороге. Я ему говорю, чтоб не ходил, но эти сорванцы, черт бы их побрал, все равно ходят. Вот так один раз пойдет и уже не вернется…

Уже не вернется. Все возможно. Бродяги. Преступники. Тьма. Несчастный случай. Смерть!

Одиночество во вселенной.

По всему свету миллионы таких маленьких городов. Каждый такой же темный, одинокий, отстраненный, исполненный содрогания и изумления. Пронзительное пиликанье на скрипках в миноре считалось в маленьких городах музыкой, света нет, зато изобилие теней. Ох уж это их беспросветное одиночество. Их таинственные сырые овраги. Ночью жизнь в них превращалась в кошмар, когда отовсюду здравый смысл, супружеские узы, дети и счастье подвергались угрозам людоеда, имя которому — Смерть.

Мама позвала в темноте:

— Дуг! Дуглас!

Вдруг они оба поняли — что-то не так.

Сверчки прекратили стрекотать. Полная ти-

шина.

Никогда еще в своей жизни не слышал он такой полнейшей тишины. С какой стати замолчали сверчки? Зачем? Почему? Они же никогда раньше не умолкали.

Если только. Если только…

Не суждено было чему-то случиться.

Казалось, весь овраг напрягся, собрал в пучок свои черные фибры, отбирая энергию у окрестных полей на мили вокруг. Из увлажненного росой леса и лощин, с холмов, где псы задирали головы на луну, отовсюду великая тишь всасывалась в один центр, и они стояли в самом его сердце. Что-то произойдет, что-то произойдет через десяток секунд. Сверчки соблюдали перемирие, звезды висели так низко, что можно было ухватить их за хвосты. Они роились, раскаленные и острые.

Нарастала, нарастала тишина. Нарастало, нарастало напряжение. До чего же темно и далеко от всего. О боже!

И тут далеко-далеко по ту сторону оврага:

— Мама! Я иду! Мама! Все в порядке!

И снова:

— Мама, это я! Я иду! Мама!

Потом через провал оврага донесся еле слышный бег теннисных туфель, принадлежавших

трем несущимся и смеющимся мальчишкам — его брату Дугласу, Чаку Вудмену и Джону Хаффу. Они бежали и гоготали…

Звезды исчезли, как ужаленные рожки десятка миллионов улиток.

Сверчки запели!

Тьма отпрянула назад от неожиданности, возмущения и гнева. Отшатнулась, потеряв аппетит от бесцеремонного обращения в тот самый момент, когда она собиралась покормиться. Стоило тьме откатиться, словно волне, как из темноты вынырнули трое хохочущих мальчуганов.

— Привет, мам! Привет, Том! Эге-гей!

Дуглас пропах ароматами пота, травы, деревьев, ветвей и ручья.

— Молодой человек, тебя ожидает порка, — объявила мама.

Она мгновенно отбросила свой страх. Том знал, что она ни за что никому об этом не расскажет. Но страх поселится в ее сердце, впрочем, как и в его сердце, навсегда.

Они шли домой спать поздней летней ночью. Он радовался, что Дуглас жив. Очень радовался. На какое-то мгновение он подумал…

* * *

Далеко в сумрачной, залитой лунным светом местности за виадуком, в долине, несся свистящий поезд, словно потерянная железяка, без названия. Том лежал в постели рядом с братом, его колотил озноб. Он прислушивался к паровозным гудкам и думал о кузене, жившем далеко-далеко, там, где мчался поезд; о кузене, умершем поздней ночью от воспаления легких много лет назад…

Он учуял запах пота, исходивший от лежавшего рядом Дуга. Мистика. Том перестал дрожать.

— Я знаю наверняка только две вещи, Дуг, — прошептал он.

— Какие?

— Ночью жутко темно — это раз.

— А два?

— Овраг ночью не имеет ничего общего с Машиной счастья мистера Ауфмана, даже если он ее когда-нибудь построит.

Дуглас поразмыслил над сказанным.

— Можешь повторить?

Они перестали говорить. Прислушавшись, они вдруг услышали шаги со стороны улицы под деревьями, напротив их дома, на тротуаре. Из своей

постели мама тихо сказала:

— Это папа.

Так и оказалось.

X

Поздней ночью на веранде Лео Ауфман составлял список, которого не было видно в темноте, восклицая при этом:

— Ах!

Или, когда ему удавалось сделать удачную находку:

— А вот еще!

Затем москитная сетка издала неслышный шорох мотылька.

— Лина? — прошептал он.

Она сидела рядом с ним на качелях в ночной рубашке, не такая стройная, как девушки в семнадцать, когда их еще не любят, и не такая полная, как женщины в пятьдесят, когда их уже не любят, а совершенно идеальная: округлая, упругая, то есть ровно такая, какой женщина становится в любом возрасте, когда любят, без сомнений.

Она была восхитительна. Ее тело, как и его тело, всегда думало за нее, но иначе, вылепливая детей, или забегало вперед него в любую комнату, чтобы сменить атмосферу в соответствии с его настроением. Казалось, она никогда не задумы-

валась надолго; ее мысли и дела перетекали из головы к рукам и обратно настолько естественно и плавно, что он даже не задумывался и не смог бы изобразить на схеме.

— Эта машина, — промолвила она наконец, — …нам ни к чему.

— Ни к чему, — сказал он, — но иногда приходится мастерить для других. Я тут думал, что бы в нее заложить. Кино? Радио? Стереоскоп? Все в одном месте, чтобы любой мог провести по ней рукой и сказать с улыбкой: «Да, это и есть счастье».

«Да, — думал он, — построить машину, которая вопреки промокшим ногам, насморку, постелям всмятку и монстрам, терзающим твою душу в три ночи, будет вырабатывать счастье, как волшебная соляная мельница, брошенная в море, вечно вырабатывающая соль и превратившая море в рассол. Кто бы не стал утруждать свою душу, дабы изобрести такую машину?» — спрашивал он у всего мира, у города, у своей жены!

На качелях рядом с ним напряженное молчание Лины было равносильно вынесенному суждению.

Умолкнув и откинув голову, он прислушивался к шелесту листвы вязов на ветру, над головой.

«Не забудь заложить в машину и этот шелест», — сказал он сам себе.

Спустя минуту качели в темноте веранды опустели.

XI[11]

Во сне дедушка улыбался.

Чуя улыбку и недоумевая, откуда она взялась, он пробудился. Он тихо лежал и прислушивался. И объяснение нашлось.

Ибо он услышал звук куда важнее, чем щебетание птиц или шелест свежей листвы. Один раз в год он просыпался и лежал, дожидаясь звука, означавшего официальное начало лета. И оно начиналось таким вот утром, когда постоялец, племянник, кузен, сын или внук выходил на лужайку и с лязгом крутящегося железа сквозь душистую летнюю травку выкашивал постепенно уменьшающиеся прямоугольники к северу и востоку, югу и западу. Цветки клевера, несколько нескошенных пучков одуванчика, муравьи, палки, галька, остатки петард и мусора с прошлогоднего Дня Независимости, но главным образом чистая зелень. Из-под тарахтящей косилки вздымался фонтан. Прохладный ласковый фонтан, щекочущий его ноги, брызжущий в его теплое

---

[11] Сноски: 11

Рассказ Р. Брэдбери «Летние лужайки» («The Lawns of Summer», «Nation's Business», May 1952).

лицо, наполнявший ноздри извечным ароматом начала нового времени, — залог того, что да, черт возьми, проживем еще двенадцать месяцев!

Господь, благослови газонокосилку, подумал он. Какому глупцу пришло в голову учредить первое января началом Нового года? Нет, следует назначить наблюдателя за травами на бесчисленных лужайках Иллинойса, Огайо и Айовы, и в то утро, когда трава подрастет настолько, что ее можно косить, а не трещать, дуть в рожки и вопить, должна зазвучать великая симфония газонокосилок, пожинающих свежую траву на землях прерий. Вместо конфетти и серпантина следует брызгать друг в друга травой один день в году, который действительно представляет собой Начало!

Он фыркнул на свой собственный трактат, подошел к окну и выглянул на ласковое солнышко, и, конечно же, тут как тут оказался постоялец Форестер, молодой репортер, выстригающий очередную полосу.

— Доброе утро, мистер Сполдинг!

— Задай им жару! — задорно крикнул в ответ дедушка и вскоре внизу, поедая бабушкин завтрак, отворил окно, чтобы тарахтение косилки сопровождало его трапезу.

— Эта штука вселяет уверенность, — сказал дедушка. — Эта косилка! Ты только прислушайся к ней!

— Косилки отживают свой век. — Бабушка принесла стопку оладий. — Появилась новая разновидность травы, Билл Форестер будет высевать сегодня утром. Ее не нужно стричь. Не знаю, как называется, но вырастает ровно настолько, насколько нужно, и не длиннее.

Дедушка уставился на нее.

— Не надо так со мной шутить.

— Сходи и посмотри сам. Ради бога, — сказала бабушка. — Это идея Билла Форестера. Новая трава дожидается в брикетах у стены дома. Выкапываешь лунки, высаживаешь в них новую траву. К концу года новая трава вытесняет старую, и ты продаешь косилку.

Дедушка встал со стула, прошагал по комнате и через десять секунд вышел в переднюю дверь.

Билл Форестер оставил косилку и подошел, улыбаясь и щурясь на солнце.

— Так и есть, — сказал он. — Купил ее вчера. Думал, раз я в отпуске, так высажу ее для вас.

— А почему со мной не посоветовались? Это же моя лужайка! — воскликнул дедушка.

— Думал, вам понравится, мистер Сполдинг.

— А мне это совсем не нравится. Ну-ка, дай взглянуть, что за бесовскую траву ты тут мне принес.

Они стояли возле небольших брикетов новой травы. Дедушка с подозрением попинал ее носком ботинка.

— Похожа на обычную траву. Ты уверен, что тебе не всучили ее какие-то торговцы лошадьми, поутру, пока ты еще не совсем проснулся?

— Я видел такую траву в Калифорнии. Она вырастает настолько и не выше. Если она выживет в нашем климате, то нам не придется выходить в будущем году раз в неделю и подравнивать ее.

— В этом-то и загвоздка с твоим поколением, — сказал дедушка. — Билл, мне стыдно за тебя, ты же репортер. Все, что нам дано в жизни для наслаждения, ты уничтожаешь. Экономия времени, экономия труда, говоришь ты.

Он презрительно оттолкнул лотки с травой.

— Билл, когда тебе будет столько же, сколько мне, ты поймешь, что маленькие наслаждения и радости важнее больших. Прогулка весенним утром лучше восьмидесятимильной поездки в автомобиле с усиленным мотором. Знаешь почему? Потому что она полна ароматами и привкусами, богата растительностью. Есть время

искать и находить. Я понимаю, тебе подавай все эффектное. И я полагаю, это вполне оправданно. Но как молодой сотрудник газеты, ты должен искать и виноград, и арбузы. Ты без ума от скелетов, а я предпочитаю отпечатки пальцев. Что ж, нормально. Сейчас такие вещи навевают на тебя скуку. И я думаю, не оттого ли, что ты не умеешь ими пользоваться? Была бы твоя воля, ты бы принял закон, запрещающий мелкие работы, мелкие вещи. Но тогда ты остался бы не у дел между великими делами, и тебе пришлось бы тратить чертову уйму времени, придумывая, чем бы занять себя, чтобы не сойти с ума. А почему бы не дать природе подсказать тебе пару вещей? Стрижка травы и прополка сорняков тоже могут быть образом жизни, сынок.

Билл Форестер молча улыбался ему.

— Знаю, — сказал дедушка. — Я много говорю.

— Я бы не отдал предпочтение никому другому.

— Лекция продолжается. Сиреневый куст лучше орхидей. А одуванчики и свинорой еще лучше! Почему? Потому что они заставляют тебя нагнуться и ненадолго отвлекают от всех людей и от города и заставляют попотеть, и ты вспоминаешь, что у тебя есть обоняние. И когда

ты таким образом приходишь в себя, то ты действительно ненадолго становишься самим собой. И наедине с самим собой начинаешь задумываться. Садоводство — труднейшая разновидность философии. Никто не гадает, никто не осуждает, никто не знает, но вот ты — Платон среди пионов, Сократ, принудительно выращивающий для себя цикуту. Человек, тянущий мешок с кровяными удобрениями по своей лужайке, сродни Атласу, позволяющему Земле спокойно вертеться у него на плечах. Как говаривал Самуэль Сполдинг-эсквайр, «копай землю, возделывай душу». Крути лезвия косилки, Билл, и ходи в брызгах Фонтана молодости! Лекция окончена. К тому же зелень одуванчика полезно время от времени принимать в пищу.

— Сколько лет вы употребляете одуванчики в пищу, сэр?

— Не будем об этом!

Билл легонько пнул один из пластов дерна с травой и кивнул:

— Так вот, по поводу этой травы. Я не договорил. Она растет так плотно, что не оставляет никаких шансов клеверу и одуванчикам…

— Боже праведный! Значит, в будущем году вину из одуванчиков — конец! Значит, пчелы на

наш участок не прилетят! Да ты в своем уме, сынок?! Послушай, во сколько это тебе обошлось?

— Доллар за пласт. Я купил десяток, чтобы сделать сюрприз.

Дедушка полез в карман, достал старинный кошелек с глубокой пастью, разомкнул серебряную застежку и достал три пятидолларовые купюры.

— Билл, ты только что сорвал на этой сделке крупный куш, аж целых пять долларов. Я хочу, чтобы ты отнес эту кучу неромантичной травы в овраг, на свалку — куда угодно, только я прошу тебя смиренно и уважительно: не высаживай ее на моем дворе. Твои побуждения — выше всяких похвал, но моим побуждениям, как мне представляется, в силу моего почтенного возраста, должно отдать предпочтение.

— Да, сэр. — Билл нехотя положил купюры в карман.

— Билл, высадишь эту новую траву в какой-нибудь другой год. Когда меня не станет, можешь перепахать к чертовой бабушке хоть всю лужайку. Думаю, ты можешь подождать еще лет пять или около того, пока престарелый оратор не отдаст концы?

— Разумеется, могу, — сказал Билл.

— Что касается косилки, с ней связана совер-

шенно непостижимая вещь, но для меня этот звук — самый прекрасный на свете, свежайший голос времени года, голос лета, и если он исчезнет, я буду ужасно тосковать и буду скучать по аромату скошенной травы.

Билл нагнулся и подобрал один пласт.

— Итак, я направляюсь к оврагу.

— Ты добрый, понимающий молодой человек, из тебя выйдет блестящий и отзывчивый репортер, — сказал дедушка, помогая ему. — Это я тебе предсказываю.

* * *

Прошло утро, наступил полдень. После обеда дедушка удалился почитать Уиттьера[12] и поспать. Когда он проснулся в три часа дня, яркий ободряющий солнечный свет лился сквозь окна. Он лежал в постели и неожиданно услышал старый знакомый незабываемый звук.

— Э, — сказал он, — кто-то запустил газонокосилку! Но лужайку утром уже постригли!

Он снова прислушался. Действительно. Непрерывная, монотонно нарастающая-спадающая

---

[12] Сноски: 12

Джон Г. Уиттьер (John Greenleaf Whittier) (1807–1892) — американский поэт и аболиционист.

трескотня.

Он выглянул из окна и изумился.

— Да это же Билл. Билл Форестер, ты часом не перегрелся на солнышке? Ты же косишь лужайку по новой!

Билл взглянул вверх, белозубо улыбнулся и помахал рукой.

— Я знаю! Просто я пропустил кое-какие участки!

Дедушка еще минут пять лежал в постели, довольно улыбаясь: Билл Форестер косил лужайку на север, затем на запад, на юг, и, наконец, трава вырывалась из косилки великолепным искрящимся фонтаном зелени — на восток.

XII

В воскресное утро Лео Ауфман медленно прохаживался по гаражу в надежде, что какой-нибудь обрезок дерева, моток проволоки, молоток или гаечный ключ подпрыгнут и возопят:

— Начни с меня!

Он задавался вопросом:

«Может, Машина счастья должна умещаться в твоем кармане?»

«Или же, — продолжал он размышлять, — она сама должна носить тебя в своем кармане?»

— Одно я знаю наверняка, — произнес он вслух, — она должна быть яркой!

Он поставил в центре верстака банку с оранжевой краской, взял словарь и забрел в дом.

— Лина?

Он заглянул в словарь.

— Ты «довольна, удовлетворена, радостна, счастлива»? Ты считаешь себя «везучей, удачливой»? Все ли складывается для тебя «разумно и приемлемо», «успешно и благополучно»?

Лина перестала нарезать овощи и закрыла глаза.

— Прочитай, пожалуйста, еще раз, — попросила она.

Он захлопнул книгу.

— Чтобы сделать как я, тебе придется задуматься на час, прежде чем ты мне ответишь. Я же прошу простого ответа: да или нет. Ты довольна, радостна, восхищена?

— Это коровы бывают довольными, а дети и старики, впавшие в детство, — счастливыми, помоги им Господь, — сказала она. — Что до радости, Лео. Посмотри, как я веселюсь, выскабливая раковину…

Он пристально посмотрел на нее, и его лицо прояснилось.

— Лина, это правда. Люди не ценят. Через месяц, может быть, мы уедем.

— Я не жалуюсь! — вскричала она. — Я не из тех, кто приходит со списком, где написано «покажите язык». Лео, ты же не спрашиваешь, отчего сердце бьется всю ночь? Нет! Дальше ты спросишь, что такое брак? Кто знает, Лео? Не надо спрашивать. Тот, кто рассуждает, как это работает, как это устроено, срывается с трапеции в цирке, задыхается, пытаясь разобраться в работе мышц горла. Ешь, спи, дыши, Лео, и перестань пялиться на меня, словно я новость в этом доме!

Лина Ауфман замерла. Повела носом.

— О, боже! Вот что ты наделал!

Она рванула на себя дверцу духовки. Кухня утонула в облаке дыма.

— Счастье! — запричитала она. — И впервые за шесть месяцев мы ссоримся! Счастье, и впервые за двадцать лет у нас на ужин вместо хлеба — уголья!

Когда дым рассеялся, Лео Ауфмана след простыл.

* * *

Внушающий страх лязг, столкновение человека и вдохновения, круговерть металла, древесины, молотков, гвоздей, угольников, отверток длились много дней. Временами, отчаявшись, Лео Ауфман слонялся по улицам, издерганный, встревоженный, вздрагивающий от далеких раскатов смеха, подслушивал детские шуточки, наблюдал, что вызывало у них улыбку. Вечерами он сиживал на переполненных соседских верандах, внимая тому, как старики судят и рядят о жизни, и при каждом взрыве веселья Лео Ауфман оживлялся, словно полководец, который узрел разгром темных сил в подтверждение правоты своей стратегии. Возвращаясь домой, он ликовал до

тех пор, пока не попадал в свой гараж с мертвым инструментом и бездушной древесиной. Затем его сияющее лицо бледнело от уныния, и, чтобы скрыть свой провал, он стучал и гремел деталями своей машины, словно в них был какой-то смысл. Наконец Машина стала обретать очертания, и через десять дней и ночей, дрожащий от переутомления, самоотреченный, оголодавший, бормоча себе что-то под нос, словно пораженный молнией, Лео Ауфман приковылял домой.

Дети, нещадно оравшие друг на друга, умолкли при виде Красной смерти, переступающей порог дома под бой часов.

— Машина счастья, — прохрипел Лео Ауфман, — готова.

— Лео Ауфман, — сказала его жена, — похудел на пятнадцать фунтов. Две недели не разговаривал со своими детьми, так они разнервничались, грызутся, ты только послушай! Его жена нервничает, набрала десять фунтов весу, теперь ей нужна новая одежда, полюбуйся! Зато — машина готова. А как насчет счастья? Кто знает? Лео, оставь эту затею с часами, которые ты строишь. Где ты найдешь такую большую кукушку? Человек не создан для вмешательства в такие дела. Это не противно богу, нет, но явно против Лео

Ауфмана. Еще одна такая неделька, и мы похороним его в этой машине!

Но Лео Ауфман был слишком занят, чтобы заметить стремительно падающую вверх комнату.

«Любопытно», — подумал он, лежа на полу.

Темнота сомкнулась над ним, как большущее мигающее веко, и кто-то что-то голосил про Машину счастья. И так три раза.

* * *

Первое, что он заметил на следующее утро, это десятки порхающих птиц, вызывающих рябь, как цветные камушки, брошенные в невероятно прозрачный ручей, и ласково ударяющих в гонг оцинкованной крыши гаража.

Свора разношерстных собак просеменила одна за другой во двор полюбопытствовать и повыть малость через гаражную дверь; четыре мальчика, две девочки и несколько взрослых топтались в нерешительности на подъездной дорожке, а затем незаметно отступили под сень вишневых деревьев.

Прислушавшись, Лео Ауфман догадался, что именно вырвалось на свободу и призвало их всех во двор.

Звук Машины счастья.

Такой звук можно услышать из кухни великана в летний день. Всяческие гудения и жужжания, высокие и низкие, постоянные и переменные. Вихри золотых пчел величиною с чайную чашку пекли там неимоверные блюда. Великанша с ликом персиковой луны, громадной, как лето, умиротворенно гудит себе что-то под нос, проплывая к двери и спокойно созерцая улыбчивых собачек, мальчиков с пшеничными волосиками и стариков с мучными шевелюрами.

— Стоп! — крикнул Лео Ауфман. — Я не включал машину сегодня утром! Саул!

Саул, стоявший внизу во дворе, взглянул вверх.

— Саул, это ты ее включил?

— Ты велел мне прогреть ее полчаса назад!

— Ладно, Саул, я запамятовал. Я еще не проснулся.

Он откинулся на постель.

Его жена, принесшая завтрак наверх, задержалась у окна, взглянув вниз на гараж.

— Скажи мне, — тихо спросила она. — Если эта машина есть то, за что ты ее выдаешь, тогда она знает ответ на вопрос, как делать детей? Она может превращать семидесятилетних в двадцатилетних? И, кстати, как выглядит смерть, когда

ты прячешься в ней со всем своим счастьем?

— Спрячься!

— Если бы ты умер от истощения, что бы я делала сегодня? Залезла в этот большой ящик и осчастливилась? Кстати, скажи мне, Лео, как тебе нравится наша жизнь? Ты же знаешь, на что похож наш дом. В семь утра — завтрак, дети. К восьми тридцати вас всех след простыл. И только я одна мою, стряпаю, штопаю носки, выдергиваю сорняки, бегу в магазин или полирую серебро. Кто жалуется? Я только напоминаю тебе, как устроен наш дом, Лео, что в этом такого! А теперь дай мне ответ: каким образом все, что я перечислила, уместить в одной машине?

— Она устроена иначе!

— Прошу прощения. Тогда у меня нет времени на нее смотреть.

И она поцеловала его в щеку и вышла из комнаты, а он остался лежать, обоняя ветер, дувший из спрятанной внизу машины, обогащенный ароматом жареных каштанов, которыми торгуют осенью на парижских улицах, где он никогда не бывал…

Среди завороженных собак и мальчишек незаметно бродил кот и мурлыкал перед гаражной дверью на фоне шума белоснежных валов, разби-

вающихся о далекий, ритмично дышащий берег.

«Завтра, — думал Лео Ауфман, — мы испытаем машину, все вместе».

* * *

Поздней ночью его что-то разбудило. В дальней комнате раздавался чей-то плач.

— Саул? — прошептал он, вставая с постели.

Саул в своей комнате плакал, зарывшись головой в подушку.

— Нет… нет… — рыдал он. — Кончено… кончено…

— Саул, сынок, скажи, тебе кошмар приснился?

Но мальчик только плакал в ответ.

Сидя на кровати мальчика, Лео Ауфману вдруг пришло в голову выглянуть в окно. Гаражные двери были распахнуты.

Он почувствовал, как волосы зашевелились у него на затылке.

Когда Саул, всхлипывая, снова погрузился в тяжелый сон, его отец спустился к гаражу и, затаив дыхание, протянул руку.

В прохладной ночи к металлу Машины счастья было не прикоснуться.

«Значит, — подумал он, — Саул приходил сюда

этой ночью».

Зачем? Неужели Саул такой разнесчастный, что ему понадобилась машина? Нет, он счастлив, но ему не хочется расставаться со своим счастьем. Мальчик же не виноват в том, что понимает свое положение и не хочет перемен? Нет! И все-таки…

Над головой из окна Саула вдруг выпорхнуло нечто белое. Сердце Лео Ауфмана так и екнуло. Потом он понял, что это выдуло в ночь оконную занавеску. Но казалось, нечто сокровенное и трепетное, как душа мальчика, вырвалось из его комнаты. И Лео Ауфман вскинул руки вверх, словно хотел перехватить, втолкнуть это нечто обратно в спящий дом.

Похолодевший, дрожащий, он вошел в дом и поднялся в спальню Саула, втащил трепетавшую занавеску внутрь и запер окно, чтобы это бледное создание больше не убегало. Потом уселся на край кровати и обнял Саула.

* * *

— «Рассказ о двух городах»? Мой. «Лавка древностей»? Ха! Это Лео Ауфману на все времена! «Большие ожидания»? Были такие у меня когда-то. Но теперь «Большие ожидания» пусть

останутся у него!

— Что происходит? — спросил Лео Ауфман, войдя в комнату.

— Раздел общего имущества, — объявила жена. — Когда папочка по ночам пугает своего сыночка, значит, пора все рубить пополам! С дороги, Мистер Холодный Дом, Лавка Древностей! Во всех этих книгах не найдется сумасшедшего ученого вроде Лео Ауфмана. Ни единого!

— Ты уходишь, даже не испытав машину! — возмутился он. — Испытай, и ты разберешь свои вещи и останешься!

— «Том Свифт и его электрический аннигилятор». А это чье? — вопросила она. — Стоит ли гадать?

Фыркнув, она протянула «Тома Свифта» Лео Ауфману.

* * *

Под вечер все книги, посуда, одежда и постельное белье были сложены в стопки. Одна здесь. Другая — там. Четыре здесь. Четыре — там. Десяток здесь. Десяток — там. Лина Ауфман, утомленная подсчетами, вынуждена была присесть.

— Ладно, — тяжко выдохнула она, — прежде чем я уйду, докажи мне, что не станешь пугать

ночными кошмарами невинных сынишек!

Не говоря ни слова, Лео Ауфман повел жену в сумерки. Она стояла перед оранжевым ящиком высотой восемь футов[13].

— И это счастье? — сказала она. — Какую кнопку нажать, чтобы испытывать безудержное веселье, благодарность, удовлетворенность и неоплатный долг?

Стали собираться дети.

— Мама, — сказал Саул, — не надо!

— Должна же я знать, о чем я тут кричу, Саул.

Она залезла в машину, уселась и взглянула на мужа, качая головой.

— Это не мне надо, а тебе, издерганная крикливая развалина.

— Пожалуйста, — сказал он. — Вот увидишь!

Он захлопнул дверцу.

— Нажми кнопку! — крикнул он ставшей невидимой жене.

Щелчок. Машина тихо задрожала, как огромная собака, которой снятся сны.

— Папа! — сказал обеспокоенный Саул.

— Слушай! — велел Лео Ауфман.

Сначала ничего не происходило, кроме дрожа-

---

[13] Сноски: 13
8 футов = 2,4384 м.

ния внутренних тайно движущихся шестеренок и винтиков машины.

— С мамой все в порядке? — спросила Наоми.

— Все в порядке, с ней все нормально! Так, а теперь!

А внутри машины Лина Ауфман сказала:

— Ох!

Потом изумленно сказала жена-невидимка:

— Ах! Ты только глянь! Париж!

Затем:

— Лондон! А вот Рим! Пирамиды! Сфинкс!

— Сфинкс, вы слышите, дети? — шептал и смеялся Лео Ауфман.

— Духи! — удивленно воскликнула Лина Ауфман.

Где-то патефон играл «Голубой Дунай».

— Музыка! Я танцую!

— Ей только кажется, что она танцует, — доверительно сообщил папа всему миру.

— Потрясающе! — сказала невидимая женщина.

Лео Ауфман покраснел.

— Какая понимающая женщина.

Затем в недрах Машины счастья Лина Ауфман заплакала.

Улыбка сошла с лица изобретателя.

— Она плачет, — сказала Наоми.

— Не может быть!

— Плачет, — сказал Саул.

— Такого просто не может быть! — Лео Ауфман, моргая, прижался ухом к машине. — Нет… действительно… как дитя…

Ему оставалось только открыть дверцу.

— Подожди.

Жена сидела. Слезы в три ручья катились по щекам.

— Дай закончить.

И она поплакала еще немного.

Лео Ауфман, потрясенный, выключил машину.

— О, нет ничего печальнее на свете! — горевала она. — Я чувствую себя ужасно, гнусно.

Она выбралась наружу через дверь.

— Сначала этот Париж…

— Чем плох Париж?

— Всю свою жизнь я и мечтать не смела о Париже. А теперь ты заставил меня задуматься: Париж! Мне сразу захотелось в Париж, но я знаю, что это несбыточно!

— Машина ему почти не уступает.

— Нет. Сидя в ней, я понимала. Я говорила себе, это понарошку.

— Мама, не надо плакать.

Она посмотрела на него большими черными влажными очами.

— Ты заставил меня танцевать. Мы не танцевали целых двадцать лет!

— Я свожу тебя на танцы завтра же вечером!

— Нет, нет! Это несущественно. Не должно быть существенным. Но твоя машина говорит, что это важно! И я ей поверила! Я еще немного поплачу, и все встанет на свои места.

— Что еще?

— Что еще? Машина уверяет меня: «ты молода». А я не молода. Лжет эта твоя Машина Печали!

— Что в ней печального?

Его жена теперь немного успокоилась.

— Лео, твой просчет заключается в том, что ты забыл о том часе и дне, когда нам всем предстоит выбраться из этой штуки и вернуться к грязной посуде и незаправленным постелям. Пока ты сидишь внутри, конечно, солнышко, можно сказать, светит вечно, воздух сладок, температура что надо. Все, что ты хочешь, чтобы не кончалось, не кончается. Но снаружи дети ждут обеда. Нужно пришивать пуговицы к одежде. К тому же, давай начистоту, Лео, сколько можно пялиться на закат? Кому нужен вечный закат? Кому нужна идеальная температура? Кому нужно, чтобы воз-

дух всегда благоухал? Так что спустя некоторое время кто будет обращать на это внимание? Лучше закат на одну-две минуты. Потом что-нибудь другое. Люди так уж устроены, Лео. Как же ты забыл?

— Забыл?

— Закаты обожают за то, что они случаются однажды и исчезают.

— Но, Лина, вот это и печально.

— Нет, если закат непрестанный, это тебе наскучит. Вот истинная печаль. Так что ты сделал две вещи, которых не следовало. Скоротечные явления ты замедлил и остановил. Ты перенес издалека на наш задний двор вещи, которые не имеют к нам никакого отношения, а только твердят тебе: «Нет, Лина Ауфман, никогда тебе не доведется путешествовать, не видать тебе Парижа как своих ушей». Но это я и так знаю. Зачем же мне это говорить? Лучше забыть и обходиться без этого, Лео, перебиться как-нибудь, а?

Лео Ауфман оперся о машину и изумленно отдернул обожженную руку.

— Что же теперь, Лина? — спросил он.

— Не мне судить. Я только знаю, что пока эта штука здесь, мне захочется выйти, как Саулу прошлой ночью, и против собственной воли

залезть в нее, и смотреть на все эти далекие края, и каждый раз плакать и стать негодной семьей для тебя.

— Я не понимаю, — сказал он, — как я мог так заблуждаться. Дай мне убедиться в твоей правоте.

Он залез в машину.

— Ты не уйдешь?

Жена кивнула:

— Мы тебя дождемся, Лео.

Он захлопнул дверцу. В теплом сумраке он замешкался, нажал на кнопку и отдыхал, откинувшись назад, в цветомузыке, когда услышал чей-то крик.

— Пожар, папа! Машина горит!

Кто-то молотил в дверь. Он вскочил, стукнулся головой и выпал наружу, как только дверца поддалась. За спиной он услышал приглушенный взрыв. Все семейство обратилось в бегство. Лео Ауфман обернулся и закричал:

— Саул, вызови пожарную команду!

Лина Ауфман перехватила Саула на бегу и сказала:

— Саул, подожди.

Взметнулся столб огня, раздался еще один приглушенный взрыв. Теперь уже машина запо-

лыхала не на шутку.

Лина Ауфман кивнула.

— Ладно, Саул, — сказала она. — Беги, вызывай пожарных.

* * *

Почти все прибежали на пожар. Дедушка Сполдинг, Дуглас и Том, почти все постояльцы и кое-кто из пожилых с того берега оврага, все дети из шести соседних кварталов. И дети Лео Ауфмана стояли впереди, гордые тем, как неотразимо вырывались языки пламени из-под крыши гаража.

Дедушка Сполдинг, глядя на дымный шар в небе, тихо сказал:

— Лео, это она? Твоя Машина счастья?

— Когда-нибудь, — сказал Лео Ауфман, — я разберусь и скажу вам.

Лина Ауфман, стоя в темноте, смотрела, как пожарные вбегают во двор и выбегают, как гудит гараж и проваливается крыша.

— Лео, — сказала она, — чтобы разобраться, года не понадобится. Оглянись вокруг. Помолчи. Потом скажешь мне. Я буду расставлять книги на полки и одежду буду развешивать, готовить ужин, поздний ужин. Вон как темно. Идемте,

дети, помогите маме.

* * *

Когда пожарные и соседи разошлись, Лео Ауфман остался с дедушкой Сполдингом, Дугласом и Томом размышлять над дымящимися развалинами. Он помешал ногой мокрые уголья и медленно проговорил то, что должен был сказать:

— Первое, что узнаешь в жизни, — это то, что ты глупец. Последнее, что узнаешь в жизни, — это то, что ты тот же глупец. За один час я многое обдумал. Я думал, Лео Ауфман — слепец!.. Хотите увидеть настоящую Машину счастья? Запатентованную пару тыщ лет назад? Так она до сих пор работает. Не скажу, что всегда хорошо, нет! Но ведь работает! Все это время она находится здесь.

— А как же пожар? — спросил Дуглас.

— Конечно, и пожар, и гараж! Но, как сказала Лина, чтобы во всем разобраться, года не нужно. То, что сгорело в гараже, не в счет!

Они пошли следом за ним по ступенькам на веранду.

— Вот, — прошептал Лео Ауфман, — окно. Не шумите и увидите.

Не без колебаний дедушка, Дуглас и Том стали

всматриваться сквозь большое оконное стекло.

А по ту сторону окна, в уютных островках света лампы просматривалось то, что хотел видеть Лео Ауфман. Саул и Маршалл играли в шахматы на кофейном столике. В столовой Ребекка выкладывала столовое серебро. Наоми вырезала платьица для бумажных кукол. Руфь рисовала акварельными красками. Иосиф играл со своей электрической железной дорогой. В кухонную дверь было видно, как Лина Ауфман достает жаркое из дышащей паром духовки. Каждая рука, голова, каждые губы выполняли большие или малые движения. Из-за стекла доносились их отдаленные голоса, чье-то высокое сладкоголосое пение. Доносился и аромат выпекаемого хлеба. И ты знал наверняка, это настоящий хлеб, который вскоре намажут настоящим маслом. Все было на своих местах, и все действовало.

Дедушка, Дуглас и Том обернулись на Лео Ауфмана, который с порозовевшими щеками умиротворенно смотрел сквозь окно.

— Ну, конечно, — бормотал он. — Вот же она. — И смотрел то с мягкой грустью, то с мгновенным восхищением и, наконец, молчаливым признанием на то, как всё до последней мелочи в этом доме смешивалось, сотрясалось, успокаивалось,

приходило во взвешенное состояние и снова — в непрерывное движение.

— Машина счастья, — сказал он. — Машина счастья.

Спустя мгновение он исчез.

Дедушка, Дуглас и Том увидели, как внутри он занимается то мелкой починкой, то крупным ремонтом, устраняет неполадки, хлопоча среди всех этих теплых, восхитительных, бесконечно тонких, навсегда непостижимых и вечно непоседливых деталей.

Затем, улыбаясь, они спустились по ступенькам в прохладу летнего вечера.

XIII

Дважды в год они выносили на двор большие хлопающие ковры и расстилали на лужайке, где они смотрелись несуразно и осиротело. Затем бабушка и мама выходили из дома, вооруженные чем-то вроде спинок от прекрасных плетеных стульев из кафе-мороженого в центре города. Эти диковинные проволочные жезлы раздавались по кругу всем — Дугласу, Тому, бабушке, прабабушке и маме — застывшим, как сборище ведьмаков с подручными, перед орнаментами Армении, под вековой пылью. Затем по команде прабабушки — подмигиванием или улыбкой — бичи приподнимались, и свистящая проволока опускалась снова и снова, стегая ковры.

— Вот вам! Получайте! — приговаривала прабабушка. — Ну-ка, мальчики, давите мух, крушите вшей!

— Ну, ты даешь! — сказала бабушка своей матушке.

Все засмеялись. Над ними заклубилась пыльная буря. И они поперхнулись своим смехом.

В молотом-перемолотом воздухе колыхался

дождь из ворсинок, поднимались волны песка, трепетали золотые блестки трубочного табака. В передышках между выбиваниями мальчики замечали на ковре цепочки своих и чужих следов, оттиснутых мириадами; теперь их разгладит и сотрет прибой, который непрерывно обрушивается на берег Востока.

— Вот сюда твой муженек пролил кофе! — бабушка врезала по ковру.

— А вот сюда ты бухнула сливки! — прабабушка выбила из ковра большущий смерч пыли.

— Посмотрите на потертости! Ах, мальчики, мальчики!

— Дважды бабушка, глянь-ка, чернила с твоего пера!

— Вздор! Мои фиолетовые, а эти обычные, синие!

Ба-бах!

— Посмотрите, тропку протоптали от двери до кухни. Еда! Вот что приманивает львов на водопой! Давайте ее передвинем, чтобы ходили в обратную сторону.

— А еще лучше выставим мужчин из дому.

— И пусть разуваются за дверью.

Ба-бах! Ба-бах!

Наконец они развесили ковры на бельевой

веревке. Том разглядывал замысловатые извилины, завитки и цветы, таинственные фигурки, повторяющиеся узоры.

— Том, сынок, что ты стоишь сложа руки. Выбивай!

— Я здесь вижу всякую всячину. Интересно! — сказал Том.

Дуглас недоверчиво посмотрел на него.

— Что это ты там видишь?

— Да весь наш город, людей, дома. А вот наш дом!

Бах!

— Наша улица!

Бах!

— Эта чернота — овраг!

Бах!

— Тут школа!

Бах!

— Эта смешная картинка — ты, Дуг!

Бах!

— Вот прабабушка, бабушка, мама.

Бах!

— Сколько лет назад постелили этот ковер?

— Пятнадцать.

— Пятнадцать лет топотания по ковру. Всех вижу, кто наследил, — изумился Том.

— Языкастый малый, — сказала прабабушка.

— Я вижу все, что происходило в нашем доме за эти годы!

Бах!

— Вижу прошлое, но мне и будущее видно. Стоит только прищуриться и вглядеться попристальнее в узоры, и я увижу, где мы будем ходить и бегать завтра.

Дуглас опустил выбивалку.

— Что еще ты разглядел в ковре?

— Нитки, что же еще, — сказала прабабушка. — Одна основа и осталась. Видно, как ковер соткан.

— Точно! — заговорщицки сказал Том. — Нитки то в одну сторону, то в другую. Мне все видно. Злейшие враги. Закоренелые грешники. Тут скверная погода, здесь ясная. Пикники. Трапезы. Клубничные праздники.

Он с важным видом тыкал выбивалкой то в одно место, то в другое.

— Ничего себе тут у меня, оказывается, пансиончик! — сказала бабушка, раскрасневшись от усилий.

— Здесь все расплывчато. Наклони голову, Дуг, прищурься. Вечером лучше видно, конечно, когда ковер дома, на полу, под лампой. И ты увидишь тени разных очертаний, светлые и темные, и сле-

ди, куда убегают нитки, ощути ворс, проведи рукой по волокнам. Пахнет пустыней, ни дать ни взять. Зной и песок, как в ящике с мумией. Видишь красную точку? Это Машина счастья полыхает!

— Наверняка кетчуп с какого-нибудь сэндвича, — заявила мама.

— Нет, Машина счастья, — возразил Дуглас, опечаленный тем, что она там горит.

Он-то надеялся, что Лео Ауфман все приведет в порядок, чтобы с лиц не сходили улыбки, чтобы его внутренний маленький гироскоп склонялся к Солнцу всякий раз, когда Земля норовила отклониться в открытый космос и во тьму. Но ничего подобного. Лео Ауфман такое учудил. Итог — пепел и головешки. Дуглас как врезал.

Бах! Бах!

— Смотрите, а вон зеленый электрокар! Мисс Ферн! Мисс Роберта! — воскликнул Том. — Би-би-и!

Бах!

Все рассмеялись.

— Вот тянутся узловатые жилки твоей жизни, Дуг. Слишком много кисленьких яблочек и солений перед сном!

— Какие, где? — вскричал Дуглас, пристально

всматриваясь.

— Вот эта — через год. Эта — через два. А эта — через три, четыре, пять лет!

Бах! Скрученная выбивалка зашипела, как змея в подслеповатом небе.

— А на этой тебе расти и расти, — сказал Том.

Том стегнул ковер с такой силой, что из его сотрясенной до основания фактуры вышибло пыль пяти тыщ веков, которая застыла на один ужасающий миг в воздухе, пока Дуглас, щурясь, разглядывал содрогание орнаментов, и тут с немым ревом армянская лавина пыли обрушилась, и он навечно погряз в ней у них на глазах…

XIV[14]

С чего и как началась ее дружба с детьми, пожилая миссис Бентли уже запамятовала. Она частенько встречала их, подобно мотылькам и обезьянкам у бакалейщика среди капусты и связок бананов, улыбалась им, и они улыбались в ответ. Миссис Бентли наблюдала, как они отпечатывают следы на снегу, дышат осенними дымками, стряхивают вихри яблоневых лепестков по весне, но они не вызывали у нее опасений. Что же до нее, она содержала дом в безукоризненном порядке, все лежало на своем месте, полы усердно натерты, еда старательно законсервирована, шляпные булавки воткнуты в подушечки, а ящики комодов в ее спальне битком забиты разными разностями прошлого.

Миссис Бентли слыла хранительницей. Она сберегала билеты, старые театральные программки, обрезки кружев, шарфы, железнодорожные квитанции — все атрибуты и символы бытия.

— У меня целая стопка грампластинок, — ча-

---

[14] Сноски: 14

Рассказ Р. Брэдбери «Сезон недоверия» («Season of Disbelief», «Collier's», November 25, 1950).

стенько говаривала она. — Вот Карузо. Это было в 1916 году в Нью-Йорке. Мне было шестьдесят, и Джон был еще жив. Вот «Июньская луна», 1924-й, думаю, после кончины Джона.

Он был, в некотором роде, величайшей утратой ее жизни. Его единственного ей не удалось сохранить из того, что она больше всего любила касаться, слушать и созерцать. Джон пребывал в далеких луговых просторах, обозначенный датами, заключенный в ящик, сокрытый травами, и после него ничего не сохранилось, кроме шелкового цилиндра, трости и приличного костюма в шкафу. А все остальное пожрала моль.

Но она сохранила все, что было в ее силах. Ее платья с розовыми цветами, сдавленные в необъятных черных кофрах вперемешку с нафталиновыми шариками, и хрустальная посуда ее детства были доставлены ею в этот городок, когда она переехала сюда пять лет назад. Ее супруг владел доходными домами в нескольких городах, и, подобно шахматной фигурке из старой слоновой кости, она перемещалась с места на место, распродавая их один за другим, до тех пор, пока не очутилась в этом странном городе, в обществе почерневших сундуков и уродливой мебели, окружавших ее, словно создания из пер-

вобытного зверинца.

История с детьми приключилась в середине лета. Миссис Бентли вышла на веранду полить плющ и узрела двух белобрысых девочек и маленького мальчика, разлегшихся на ее лужайке и наслаждающихся покалыванием несметного количества травинок.

В тот самый момент, когда пожелтевшая маска лица миссис Бентли улыбнулась им, из-за угла, тренькая, как эльфийский оркестрик, показался фургончик мороженщика, бренча и лязгая шероховатыми ледяными мелодийками, подобно тем, что умеют извлекать из хрустальных бокалов знатоки этого дела. Дети привстали, повернув головы, как подсолнухи к солнцу.

Миссис Бентли позвала:

— Хотите угоститься? Эй, сюда!

Фургончик мороженщика остановился, и в обмен на свои деньги она получила фирменное мороженое «Ледниковый период». Дети поблагодарили ее набитыми снегом ртами, смерив ее взглядами от туфель на пуговичках до седой шевелюры.

— Хотите попробовать? — спросил мальчуган.

— О нет, дитя мое. Я постарела и заледенела. Я не оттаю и в самый жаркий день, — усмехну-

лась миссис Бентли.

Они отнесли крошечные ледники на веранду и уселись на диван-качалку.

— Я Алиса, она — Джейн, а он — Том Сполдинг.

— Как это мило. А я миссис Бентли. Меня величали Хелен.

Они уставились на нее.

— Не верите, что меня звали Хелен?

— Я не знал, что у старых дам бывают имена, — сказал Том, моргая.

Миссис Бентли суховато усмехнулась.

— Он хочет сказать, что к ним не обращаются по именам, — сказала Джейн.

— Дорогуша, когда тебе будет столько, сколько мне, и тебя не будут звать Джейн. Старость ужасно церемонна. Только «миссис». Молодежь не станет обращаться ко мне по имени Хелен. Слишком фамильярно.

— Сколько вам лет? — спросила Алиса.

— Я еще застала птеродактилей, — ухмыльнулась миссис Бентли.

— А все-таки?

— Семьдесят два.

Они призадумались, посасывая свое заледенелое лакомство.

— Это много, — сказал Том.

— Я не изменилась с тех пор, когда была в вашем возрасте, — сказала пожилая женщина.

— В нашем возрасте?

— Да. Когда-то я была такой же хорошенькой девчушкой, как ты, Джейн, и как ты, Алиса.

Молчание.

— Что случилось?

— Ничего.

Джейн встала.

— О, надеюсь, вам не нужно рано уходить. Вы еще не закончили… Да в чем дело?

— Моя мама говорит, что врать нехорошо, — сказала Джейн.

— Разумеется, нехорошо. И даже очень плохо, — согласилась миссис Бентли.

— И слушать чужое вранье.

— Да кто же тебе врет, Джейн?

Джейн посмотрела на нее, а потом раздраженно отвела взгляд.

— Вы и врете.

— Я?

Миссис Бентли рассмеялась и прижала свою сморщенную лапку к увядшей груди.

— О чем?

— О своем возрасте. О том, что вы были маленькой девочкой.

Миссис Бентли остолбенела.

— Но много лет назад я действительно была такой же, как вы, маленькой девочкой.

— Алиса, Том, за мной!

— Подождите, — сказала миссис Бентли. — Неужели вы мне не верите?

— Не знаю, — ответила Джейн. — Нет. Не верю.

— Но это же нелепо! Ведь совершенно очевидно, что каждый был когда-то молод!

— Только не вы, — прошептала Джейн, потупив глаза, разглядывая самое себя.

Палочка от мороженого упала в ванильную лужицу на полу веранды.

— Но ведь и мне было когда-то восемь, девять, десять, как всем вам.

Девочки прыснули быстро сдавленным смехом.

Миссис Бентли сверкнула глазами.

— Довольно, я не стану растрачивать свое утро на споры с десятилетними. Стоит ли говорить, мне самой когда-то было десять, и я была такой же глупенькой.

Девочки рассмеялись. Том почувствовал себя не в своей тарелке.

— Вы нас разыгрываете, — захихикала Джейн. — Вам ведь никогда не было десять, прав-

да же, миссис Бентли?

— А ну, брысь по домам! — внезапно вскричала она, ибо их взгляды стали ей невыносимы. — Они еще тут хихикать будут!

— И зовут вас не Хелен?

— Хелен, а как же еще!

— Прощайте, — сказали девочки и, посмеиваясь, потопали по лужайке, окунувшись в море прохлады, а Том медленно поплелся за ними.

— Спасибо за мороженое!

— Когда-то я и в классики играла! — крикнула им вдогонку миссис Бентли, но их уже и след простыл.

* * *

Остаток дня миссис Бентли провела, грохоча чайниками и шумно стряпая себе обед, время от времени подходя к двери в надежде подловить этих нахально гогочущих чертенят во время послеполуденной вылазки. Но даже если бы они появились, ну что бы она могла им сказать, с какой стати ей из-за этого переживать?

— Подумать только! — воскликнула миссис Бентли, обращаясь к изящной чайной чашке с розочками. — Никому никогда не приходило в голову сомневаться в том, что я была раньше

девочкой. Какая ужасная глупость! Бог с ним, с моим преклонным возрастом, это меня не очень волнует, но я возмущена поползновениями на мое детство.

Она представила, как дети убегают под сень дуплистых деревьев, сжимая в ледяных пальцах ее невидимую, как воздух, юность.

После ужина она разглядывала без видимой причины, как ее руки неосознанно уверенными движениями, словно пара призрачных перчаток во время спиритического сеанса, собирали кое-какие предметы в надушенный платок. Затем вышла на веранду и непоколебимо простояла там полчаса.

Внезапно, как ночные птахи, выпорхнули дети, и голос миссис Бентли заставил их остановиться и трепыхать крылышками.

– *Миссис* Бентли?

— А ну-ка поднимайтесь на веранду! — скомандовала она, и девочки взбежали по ступенькам, а в хвосте за ними — Том.

— Миссис Бентли?

Они делали акцент на «миссис» словно ударяли по басовой фортепьянной струне, с особым усилием, как будто ее так зовут.

— Хочу вам показать кое-какие сокровища.

Она развернула надушенный платок и заглянула в его содержимое, словно оно таило неожиданности даже для нее. Она извлекла на свет божий крохотный гребень тончайшей работы, инкрустированный по краю стразами.

— Я носила его, когда мне было девять, — сказала она.

Джейн повертела его в руке и сказала:

— Как мило.

— Дай-ка гляну! — вскричала Алиса.

— А это крошечное колечко я носила, когда мне было восемь, — сказала миссис Бентли. — Оно уже мне не впору. Посмотрите сквозь него и увидите Пизанскую башню перед падением.

— Посмотрим, как она падает!

Девочки передавали его друг другу, пока Том не приладил его на пальчик одной из них.

— О-о, оно мне как раз впору! — воскликнула она.

— А гребень подходит моей голове! — выпалила Алиса.

Миссис Бентли достала округлую гальку.

— Вот, — сказала она. — Когда-то я играла ими в камешки.

Она метнула их, и они выстроились в созвездие на веранде.

— А это что!

И она, торжествуя, извлекла главный козырь — свою фотографию в семилетнем возрасте в платьице, подобном желтенькой бабочке, с золотистыми локонами, синими глазками дутого стекла и пухлыми ангельскими губками.

— Кто эта маленькая девочка? — спросила Джейн.

— Это я!

Девочки так и приникли к фото.

— Но она не похожа на вас, — невозмутимо сказала Джейн. — Кто угодно может достать такое фото.

Они пристально рассматривали фотокарточку.

— А есть у вас другие фотографии, миссис Бентли? — спросила Алиса. — Где вы постарше? В пятнадцать лет, в двадцать, в сорок и в пятьдесят?

Девочки прыснули со смеху.

— С какой стати я буду вам что-то предъявлять? — сказала миссис Бентли.

— А с какой стати мы должны вам верить? — ответила Джейн.

— Но это фото доказывает, что я была молода!

— Это какая-то другая девочка, вроде нас. Вы ее у кого-нибудь одолжили.

— Я была замужем!

— А где мистер Бентли?

— Его уже давно нет на свете. Был бы он здесь, он бы вам сказал, как юно и свежо я выглядела в двадцать два.

— Но его тут нет, и он не может ничего сказать. Так что же это доказывает?

— У меня есть свидетельство о браке.

— Вы его тоже могли одолжить. Я поверю, что вы были когда-то молоды, — Джейн аж зажмурилась, чтобы показать, насколько она уверена в себе, — если вы найдете кого-то, кто подтвердит, что видел вас в десятилетнем возрасте.

— Меня видели тысячи людей, но их нет в живых, глупенькая… или они больны, живут в других городах. Я не знаю здесь ни души. Я переехала сюда несколько лет назад. Так что никто не видел меня в юном возрасте.

— А-а! Вот так-то! — Джейн подмигнула своим спутникам. — Никто ее не видел!

— Послушай! — Миссис Бентли схватила девочку за запястье. — Такие вещи нужно принимать на веру. Однажды и ты будешь такая же старая, как я. Тебе будут говорить то же самое: «О, нет, — будут говорить они, — эти стервятники никогда не были птичками колибри, эти совы никогда

не были иволгами, эти попугаи никогда не были синими птицами!» Однажды ты станешь такой, как я!

— Нет, не станем! — заявили девочки. — Как такое может быть? — спросили они друг друга.

— Поживете — увидите, — сказала миссис Бентли.

А про себя подумала: «О боже, дети есть дети, старушки есть старушки, а между ними — пропасть. Они не представляют себе перемен, которых не могут увидеть».

— Твоя мама, — спросила она у Джейн, — разве ты не замечала, что с годами она меняется?

— Нет, — ответила Джейн, — она всегда такая же.

В самом деле, если изо дня в день живешь с кем-то бок о бок, люди не меняются ни на йоту. Когда они уезжают надолго, на годы, только тогда видишь разительные перемены. И она представила, как она семьдесят два года катит на ревущем черном поезде и, наконец, оказывается на платформе, и тут ей все кричат: «Елена Бентли, неужели это ты?»

— Я лучше пойду домой, — сказала Джейн. — Спасибо за колечко. Оно мне впору.

— Спасибо за гребень. Такой милый.

— Спасибо за фотографию маленькой девочки.

— Вернитесь… я вам их не дарила! — закричала миссис Бентли вслед им, сбегающим по ступенькам. — Они мои!

— Стойте, — сказал Том, догоняя девочек. — Отдайте!

— Нет уж, дудки! Она их украла. Они принадлежали другой маленькой девочке. Она их стащила. Спасибо! — прокричала Алиса.

Как она их ни увещевала, девчушки исчезли, как мошки в темноте.

— Мне очень жаль, — сказал Том, глядя с лужайки на миссис Бентли, и ушел восвояси.

«Они отобрали у меня колечко, гребень и фотокарточку, — думала миссис Бентли. — Я опустошена, опустошена! У меня взяли часть моей жизни».

Ночь она пролежала не смыкая глаз, в окружении сундуков и безделушек. Обведя взглядом аккуратные кипы и стопки всякого добра, игрушек и оперных плюмажей, она вопросила вслух:

— Неужели все это принадлежит мне?

Или же это изощренные уловки старой дамы, которая пытается убедить себя в том, что у нее было прошлое? Время проходит бесследно. Человек всегда живет в настоящем. Может, некогда

она и была девочкой, но не сейчас. Ее детство прошло, и ничто не в силах его вернуть.

В комнату ворвался ночной ветер, и белая занавеска забилась о черную трость, вот уже много лет прислоненную к стене в компании всякой всячины. Трость задрожала и брякнулась с деревянным стуком на лунную дорожку. Блеснул ее золотой ободок. Мужнина оперная трость. Казалось, это он по своему обыкновению указует тростью в ее сторону, обращаясь к ней своим печальным мягким урезонивающим голосом в тех редких случаях, когда у них случались размолвки.

— Дети правы, — сказал бы он. — Ничего они у тебя не слямзили, моя дорогая. Здесь и сейчас эти вещи принадлежали не тебе, а ей — той, другой твоей ипостаси, давным-давно.

«О-о», — сказала себе миссис Бентли. Потом, как на старинной граммофонной пластинке, шипящей под стальной иглой, ей вспомнился один разговор с мистером Бентли… Утонченный мистер Бентли, с розовой гвоздикой в петлице, говорил ей:

— Моя дорогая, ты никогда не постигнешь время. Ты вечно пытаешься быть той, кем была, а не той, кто ты есть сегодня вечером. Чего ради ты копишь театральные билеты и программки?

Они будут только причинять тебе боль. Выбрось их, дорогая.

Но миссис Бентли их упорно хранила.

— Ничего не получится, — продолжал мистер Бентли, отпивая чай. — Сколько бы ты ни пыталась оставаться той, кем ты некогда была, ты можешь быть только той, кто ты есть здесь и сейчас. Время завораживает. Когда тебе девять, ты воображаешь, будто тебе всегда было и будет девять. Когда тебе тридцать, кажется, ты навсегда нашла приятное равновесие на краешке среднего возраста. А когда тебе стукнет семьдесят, то тебе семьдесят, раз и навсегда. Ты застреваешь то в молодости, то в старости, но ты живешь в настоящем, и, кроме настоящего, ничего не существует.

Это был один из немногих, но дружеских споров в их тихой супружеской жизни. Он никогда не одобрял ее увлечения барахлом.

— Будь той, кто ты есть, схорони то, чем ты не являешься, — говорил он. — Билетные корешки — самообман. Хранение всякой всячины — фокус-покус с зеркалами.

Что бы он сказал, будь он жив?

— Ты сохраняешь коконы, — вот что бы он сказал. — Корсеты, в некотором роде, которые уж никогда не будут тебе впору. Так зачем их со-

хранять? Ты ни за что не докажешь, что когда-то была молода. Фотографии? Нет. Они лгут. Ты не имеешь ничего общего с фотографией.

— Справки, свидетельства?

— Нет, дорогая. Ты — не дата, не чернила, не бумага. Ты — не сундук с хламом и пылью. Ты — это только ты, здесь, сейчас, в настоящем.

Миссис Бентли кивнула своим воспоминаниям и вздохнула с облегчением.

— Да, я поняла. Поняла.

Трость с золотым ободком тихо лежала на залитом лунным светом ковре.

— Утром, — сказала она, обращаясь к трости. — Я предприму решительные меры и стану только собой и никем более из прошлых лет. Да, вот как я поступлю.

Она уснула…

* * *

Утро выдалось сияющим и зеленым. У ее двери, тихонько постукивая по москитной сетке, стояли те самые девочки.

— Найдется для нас еще что-нибудь, миссис Бентли? Из вещей маленькой девочки?

Она провела их по коридору в библиотеку.

— Бери.

Она протянула Джейн платье, в котором играла роль дочери мандарина, когда ей было пятнадцать лет.

— И это бери. И это.

Калейдоскоп. Увеличительное стекло.

— Забирайте что хотите, — сказала миссис Бентли. — Книги, коньки, куклы. Всё. Они ваши.

— Наши?

— Только ваши. А вы поможете мне справиться с одним маленьким дельцем через час. На заднем дворе я собираюсь запалить большой костер. Да. Опустошаю сундуки, выбрасываю мусор для мусорщика. Он мне не принадлежит. Ничто никому никогда не принадлежит.

— Поможем, — пообещали они.

Миссис Бентли провела участников шествия на задний двор с полной охапкой всякого добра и коробком спичек в придачу.

Все лето на веранде миссис Бентли, как пташки на проводах, сидели в ожидании две маленькие девочки и Том. И как только раздавался серебряный перезвон, устроенный мороженщиком, дверь отворялась, миссис Бентли выплывала наружу, опустив руку в зев среброустого ридикюля. И полчаса они находились на веранде, дети и пожилая дама, и смеялись, погружая холод в тепло,

поглощая шоколадные сосульки. Наконец-то они стали добрыми друзьями.

— Сколько вам лет, миссис Бентли?

— Семьдесят два.

— А сколько вам было пятьдесят лет назад?

— Семьдесят два.

— И вы никогда не были молодой, правда же? Никогда не повязывали ленточек, не носили платьиц?

— Никогда.

— У вас есть имя?

— Меня зовут миссис Бентли.

— И вы всегда жили в этом доме?

— Всегда.

— И никогда не были хорошенькой?

— Никогда.

— Никогда, в миллион триллионов лет?

При этом обе девочки склонялись к пожилой даме и ждали в спертой четырехчасовой тишине летнего полдня.

— Никогда, — отвечала миссис Бентли, — в миллион триллионов лет.

* * *

— Ну, как, Дуг, приготовил свой пятицентовый блокнот?

— Конечно!

Дуг хорошенько послюнявил карандаш.

— Что там у нас уже записано?

— Все церемонии.

— Четвертое июля и тому подобное, вино из одуванчиков и всякая мелочь вроде подвешивания качелей на веранде. Ну как?

— Здесь написано, что 1 июня 1928 года я съел свое первое за лето эскимо.

— Это еще не лето, а весна.

— Все равно, оно было «первое», поэтому я записал. 25 июня купил теннисные туфли. 26 июня ходил босиком по траве. Вон сколько всего! А ты чем похвастаешься, Том? Что ты делал в первый раз? В каких удивительных священнодействиях участвовал на каникулах — ловил речных раков или хватал водомерок?

— Никому в жизни не удавалось схватить водомерку. Ты знаешь хоть кого-нибудь, кто поймал водомерку? Вспомни!

— Вспоминаю.

— Ну и?

— Ты прав. Никто, ни разу. И не поймает, наверное. Слишком уж они юркие.

— Дело даже не в том, что юркие. Их просто не существует, — сказал Том.

Он подумал и кивнул.

— Именно. Их вообще никогда не существовало. Вот что я напишу.

Он склонился и прошептал на ухо брату. Дуглас записал.

Оба посмотрели на запись.

— Черт возьми! — воскликнул Дуглас. — Как же я раньше не догадался! Гениально! Правильно! Старые люди никогда не были детьми!

— И мне их жаль, — сказал Том, сидя, не шелохнувшись. — Мы ничем не можем им помочь.

XV[15]

— Город, кажется, кишит машинами… — сказал Дуглас. — Мистер Ауфман и его Машина счастья, мисс Ферн и мисс Роберта с их Зеленой машиной. А теперь, Чарли, что это у тебя?

— Машина времени! — выпалил Чарли Вудмен, еле поспевая за ним. — Честное-пречестное слово!

— Путешествия в прошлое и будущее? — поинтересовался Джон Хафф, обгоняя их без особых усилий.

— Только в прошлое, но всего сразу не бывает. Вот мы и на месте.

Чарли Вудмен остановился у забора.

Дуглас присмотрелся к дому.

— Э, да это же дом полковника Фрилея. Нет тут никаких Машин времени. Разве он изобретатель? Даже если так, мы бы давно уже знали про такую серьезную штуку, как Машина времени.

Чарли и Джон на цыпочках поднялись по ступенькам веранды, а Дуглас фыркнул и покачал

---

[15] Сноски: 15

Рассказ Р. Брэдбери «Последний, самый последний» («The Last, the Very Last», The Reporter, June 2, 1955).

головой, оставаясь внизу.

— Ладно тебе, Дуглас, — сказал Чарли. — Не умничай. Ну, конечно, полковник Фрилей не изобретал Машину времени. Но он кровно в ней заинтересован, и она находится здесь давным-давно. Просто мы по своей глупости ее не замечали! Так что прощай, Дуглас Сполдинг!

Чарли взял Джона под руку, словно сопровождал даму, распахнул москитную сетку на веранде и зашел внутрь. Москитная сетка не хлопнула.

Дуглас перехватил ее и молча следовал за ними по пятам.

Чарли пересек огражденную веранду, постучал, отворил внутреннюю дверь. Они заглянули в длинный темный коридор, ведущий в комнату, освещенную, как подводный грот, нежно-зеленый, приглушенный, расплывчатый.

— Полковник Фрилей?

Тишина.

— Он плохо слышит, — прошептал Чарли. — Но сказал мне, чтобы я просто заходил и звал его. *Полковник!*

В ответ только пыль посыпалась вниз по винтовой лестнице. Затем в дальнем конце коридора, в подводном царстве возникло слабое шевеление.

Они не без опаски двинулись вперед и заглянули в комнату, в которой обнаружились всего два предмета обстановки — старик и стул. Они обладали сходством — оба истончились до того, что просматривалось их внутреннее строение, члены и сочленения, жилы и сухожилия. Все остальное — некрашеный дощатый пол, голые стены, потолок и огромная масса недвижного воздуха.

— Он что, умер? — прошептал Дуглас.

— Нет, просто обдумывает, куда бы ему еще отправиться странствовать, — сказал Чарли очень важно и тихо. — Полковник?

Один из предметов побуревшей мебели зашевелился, и это оказался полковник, щурясь и озираясь по сторонам, улыбнувшись безумной беззубой улыбкой.

— Чарли!

— Полковник, вот Дуг и Джон пришли…

— Добро пожаловать, мальчики, присаживайтесь, присаживайтесь!

Мальчики смущенно сели на пол.

— А где же… — начал было Дуглас.

Чарли вовремя ткнул его в ребро.

— Где же… что? — спросил полковник Фрилей.

— Он хочет сказать, где же смысл нам самим

говорить.

Чарли скорчил рожу Дугласу, затем улыбнулся старику.

— Нам сказать нечего, лучше вы расскажите нам что-нибудь, полковник.

— Берегись, Чарли, старики только и ждут, чтобы их попросили поговорить. И как начнут тарахтеть, что твой ржавый лифт в шахте.

— Чэн Ляньсу, — предложил наугад Чарли.

— Что? — переспросил полковник.

— Бостон, — подсказал Чарли, — 1910 год.

— Бостон, 1910 год… — Полковник нахмурился. — А, ну конечно, Чэн Ляньсу!

— Да, полковник, сэр.

— Ну-ка, посмотрим…

Голос полковника зажурчал, безмятежно покачиваясь на волнах озера.

— Посмотрим, посмотрим…

Мальчики затаили дыхание.

Полковник Фрилей смежил веки.

— 1 октября 1910 года, мирный прохладный осенний вечер, Бостонский театр варьете. Да. Аншлаг. Все в ожидании. Оркестр, фанфары, занавес! Чэн Ляньсу, великий маг Востока! Вот он, на сцене! А вот я, первый ряд, середина!

— Ловля пули! — выкрикивает он. — Добро-

вольцы?

Встает человек рядом со мной.

— Проверьте винтовку! — говорит Чэн. — Сделайте на пуле отметину! — велит он. — А теперь цельтесь в мое лицо и выстрелите этой пулей из винтовки, — говорит Чэн, — и на том конце сцены я поймаю пулю *зубами*!

Полковник Фрилей делает глубокий вздох и умолкает.

Дуглас вытаращился на него в благоговейном ужасе. Джон Хафф и Чарли совершенно оторопели. Вот старик продолжает. Его голова и туловище неподвижны, и только губы шевелятся.

— Товсь! Цельсь! Пли! — скомандовал Чэн Ляньсу. — Бах! Трещит выстрел. Чэн Ляньсу вскрикивает, шатается, падает с окровавленным лицом. Ад кромешный! Зрители срываются с мест. Что-то не так с винтовкой. Кто-то говорит: «Он мертв». И действительно. Мертв. Ужас, ужас… Я навсегда запомню его лицо в кровавой маске. Впопыхах опускают занавес. Дамы голосят… Тысяча девятьсот десятый год… Бостон… Театр варьете… Несчастный… Несчастный…

Полковник Фрилей медленно приоткрывает глаза.

— Ух ты! Полковник, потрясающе! — говорит

Чарли. — А про Пауни Билла расскажите?

— Про Пауни Билла?..

— И про то время, когда вы были в прерии в тысяча восемьсот семьдесят пятом году.

— Пауни Билл…

Полковник погрузился во тьму.

— Тысяча восемьсот семьдесят пятый… да. Мы с Пауни Биллом стоим в ожидании на небольшом возвышении посреди прерий.

— Ш-ш-ш, — шепчет Пауни Билл. — Прислушайся.

Вот-вот на исполинских подмостках прерии разыграется буря. Гром. Еле слышный. Снова гром. Уже сильнее. По всей прерии, насколько хватало зрения, огромное приземистое зловещее грязно-желтое облако, кишащее черными молниями, полсотни миль в ширину и в длину, да с милю высотой и не выше дюйма над поверхностью земли.

— Боже! — вырвалось у меня. — Боже праведный! — воскликнул я с вершины холма. — Господь всемогущий!

Мальчики, земля сотрясалась, как лишенное рассудка, обезумевшее сердце. Меня колотил озноб. Твердь земная содрогалась: бой, биение, грохот. Рокот. Вот вам редкое слово: рокот. О, как

же рокотала неистовая буря по верхам и низам, переваливая через холмы. Ты видел непроницаемую тучу, и больше ничего.

— Вот они! — закричал Пауни Билл.

И облако оказалось пылью! Не парами, не дождем, а пылью прерий, взметнувшейся из-под сухой, как порох, травы, словно мельчайшая кукурузная мука, пыльца, воспламененная лучами проглянувшего солнца. Я снова возопил! Почему? Потому что завеса адской пылищи спала и я увидел их! Клянусь! Великое воинство древних прерий — бизонов, буйволов!

Полковник позволил тишине сгуститься, потом развеял ее.

— Головы словно кулачищи исполинских негров, тулова как локомотивы, глаза как раскаленные уголья! Двадцать, пятьдесят, двести тысяч железных снарядов примчались с запада и сбились с пути, растаптывая прах, навстречу забвению!

Пыль приподнялась и на какой-то миг явила мне море горбов и грив, я увидел, как черные косматые волны вздымаются и падают…

— Стреляй! — кричит Пауни Билл. — Стреляй!

Я взвожу курок, целюсь.

— Стреляй же!

А я стою, словно карающая десница божья, созерцая великое, летящее мимо видение силы и мощи, темную ночь среди бела дня, мерцающий траурный поезд, нескончаемый и печальный. Как я мог стрелять по траурному поезду? Да и кто бы смог? Вы бы смогли, мальчики? Я думал, лишь бы пыль снова опустилась и укрыла черную роковую гущу в несусветной давке и толчее. И что бы вы думали, мальчики, пыль опустилась. Туча упрятала мириады копыт, выбивающих громы и выколачивающих из бури пыль. Пауни Билл бранился и толкал меня в плечо. Но я был рад, что не пульнул каким-то жалким свинцовым окатышем ни в то облако, ни в то могущество, которое оно скрывало. Мне хотелось лишь стоять и смотреть, как время уносится прочь огромными скачками, скрытыми бурей, поднятой уносящимися в небытие бизонами.

Прошел час, три часа, шесть часов, прежде чем буря унеслась прочь за горизонт навстречу менее добросердечным людям, чем я. Пауни Билл исчез. Я остался в одиночестве, совершенно оглушенный. Ошеломленный, я пересек город в ста милях к югу, не слыша людских голосов и не испытывая никакого желания их слышать. Мне хотелось на какое-то время запомнить этот грохот. И сейчас,

когда летними днями вроде этого над озером собирается дождь, я слышу тот ужасающе великолепный гром… и как жаль, что вы такого не слыхивали…

Крупный нос полковника Фрилея просвечивал, словно чашка из белого фарфора, налитая слабеньким тепленьким апельсиновым чайком.

— Он уснул? — спросил наконец Дуглас.

— Нет, — ответил Чарли, — батарейки перезаряжает.

Полковник Фрилей дышал часто и слабо, словно после долгой пробежки. Наконец он открыл глаза.

— Да, сэр! — сказал восхищенный Чарли.

— Привет, Чарли.

Полковник удивленно улыбнулся мальчишкам.

— Знакомьтесь, это Дуг и Джон, — сказал Чарли.

— Очень приятно!

Мальчики поздоровались.

— А… — спросил Дуглас, — где же?..

— Черт, какой же ты тупой! — Чарли ткнул Дугласа в плечо и повернулся к полковнику: — Так о чем вы говорили, сэр?

— Я? Говорил? — пробормотал старикан.

— Гражданская война, — негромко предложил Джон Хафф. — Он ее помнит?

— Помню ли я? — спросил полковник. — О, еще как, еще как!

Его голос задрожал, и он снова закрыл глаза.

— Все помню. Только… на чьей стороне я воевал…

— Цвет вашего мундира… — начал было Чарли.

— Цвета плывут перед глазами, — прошептал полковник, — линяют. Я вижу солдат, но давным-давно перестал различать цвета их шинелей или фуражек. Я родился в Иллинойсе, вырос в Виргинии, женился в Нью-Йорке, построил дом в Теннесси, и вот на склоне лет я, ах ты боже мой, вернулся в Гринтаун. Теперь понятно, почему цвета расплываются и перемешиваются…

— Но вы помните, по какую сторону гор вы сражались? — Чарли не стал повышать голоса. — Солнце вставало по левую или правую руку? Вы маршировали в сторону Канады или Мексики?

— Вроде бы в одно утро солнце вставало по мою правую руку, в другое — над левым плечом. Мы маршировали в любом направлении. Минуло почти семьдесят лет. Рассветы далекого прошлого забываются.

— Вы же помните победы в каких-нибудь битвах?

— Нет, — сказал старик, уйдя в себя. — Не припомню, чтобы кто-то где-то когда-то одержал победу. Войны не выигрывают, Чарли. Ты все время терпишь поражения, и тот, кто терпит поражение последним, запрашивает мира. Все, что я помню, это череда поражений, горя и ничего хорошего, кроме конца. Конец войне, Чарльз, вот победа, ничего не имеющая общего с пушками. Но вряд ли вы, ребята, хотите, чтобы я рассказывал о такой победе.

— Сражение при Энтитеме, — сказал Джон Хафф. — Спросите про сражение при Энтитеме.

— Я был там.

Мальчики просияли.

— Сражение при Булл-Ран, спросите про Булл-Ран.

— Я был там.

Тихим голосом.

— А при Шайло?

— Не было в моей жизни года, чтобы я не думал: ах, какое красивое название и какая досада, что оно встречается только в реляциях о битве.

— Значит, и при Шайло. А сражение за форт Самтер?

— Я видел первые клубы порохового дыма.

Мечтательным голосом:

— Столько всего нахлынуло, столько всего. Помню песни. «Тихий вечер на Потомаке, солдаты мирно спят и видят сны; их шатры в прозрачном свете осенней луны или в отблесках костра». Помню, помню… «Тихий вечер на Потомаке, ни звука, лишь журчание реки, и выпадает роса на лица погибших, дозорные навечно закончили службу»!.. После капитуляции мистер Линкольн на балконе Белого дома велел исполнить «Отвернись, отвернись, отвернись, Диксиленд»… А еще одна дама в Бостоне всего за одну ночь сочинила песню на все времена: «Моим глазам явилось славное пришествие Господне. Он давит гроздья гнева». Поздними ночами мои уста поют о днях минувших: «О, кавалеры Дикси, на страже Южных берегов…», «Когда мальчики вернутся с лаврами победы»… Столько песен с обеих сторон разносил ночной ветер с севера и с юга. «Мы идем, Отец Авраам, триста тысяч нас, а то и больше». «Ставим палатки, ставим палатки, в старом лагере ставим палатки». «Ура! Ура! Мы несем торжество, ура, ура, знамя нашей свободы»…

Голос старого человека дрогнул.

Мальчики долго сидели не шелохнувшись.

Потом Чарли повернулся к Дугласу и спросил:

— Так похож он или не похож?

Дуглас сделал два вдоха и сказал:

— Конечно, похож.

Полковник открыл глаза.

— На кого это я, конечно, похож?

— На Машину времени, — пролепетал Дуглас. — На Машину времени.

Полковник смотрел на мальчиков целых пять секунд. Теперь его голос преисполнился благоговения.

— Вот, значит, как вы меня величаете, мальчики?

— Да, сэр, полковник.

— Да, сэр.

Полковник медленно откинулся на спинку кресла и пристально посмотрел на мальчиков, на свои руки, на голую стену у них за спиной.

Чарли поднялся.

— Ну, мы, пожалуй, пойдем. До свидания и спасибо вам, полковник.

— Что? А! До свидания, мальчики.

Дуглас, Джон и Чарли направились на цыпочках к двери.

Хотя они находились в поле зрения полковника Фрилея, он не увидел их ухода.

* * *

На улице мальчики встрепенулись от оклика из окна на первом этаже у них над головами.

— Эй!

Они подняли глаза.

— Да, сэр, полковник?

Полковник высунулся из окна, махая рукой.

— Я думал о ваших словах, мальчики!

— Да, сэр?

— Так вот, вы правы! Как я раньше об этом не догадался! Машина времени, ей-богу, Машина времени!

— Да, сэр!

— До встречи, ребята. Поднимайтесь на борт в любое время!

В конце улицы они снова обернулись: полковник по-прежнему махал им рукой. Они помахали в ответ, на душе у них стало легко и приятно, и они зашагали дальше.

— Чух-чух-чух, — произнес Джон. — Я могу путешествовать в прошлое на двенадцать лет назад. Брум-брум-брум.

— Да, — сказал Чарли, оглядываясь на притихший дом. — А вот на сто лет назад не можешь.

— Нет, — сказал Джон. — На сто лет назад не

могу. Это уже настоящее странствие. Это уже настоящая машина.

Целую минуту они шли молча, глядя себе под ноги. Дошагали до забора.

— Кто последний перелезет через забор — девчонка! — сказал Дуглас.

Всю дорогу до дому Дугласа обзывали «Дорой».

* * *

Поздно ночью Том проснулся и обнаружил, что Дуглас что-то лихорадочно строчит в пятицентовом блокноте при свете фонарика.

— Дуг, что новенького?

— Новенького? Да всё! Подсчитываю свои богатства, Том! Вот, смотри: Машина счастья не сработала. Невелика печаль! У меня целый год впереди. Если нужно прокатиться по главным улицам, то я на «Трамвае Гринтауна» все выведаю и все высмотрю. Нужно пройтись по переулкам, и я стучусь в дверь мисс Ферн и мисс Роберты, они подзаряжают аккумуляторы своего электрокара, и мы отправляемся в плавание по тротуарам. Захотелось пошнырять по задворкам, перемахивать через заборы, облазить изнанку Гринтауна — у меня есть новенькие тенниски. Трамвай, электрокар, тенниски! Все к моим

услугам. Это еще что, Том, это еще что! Ты послушай! Если я хочу оказаться там, куда никто не способен отправиться, потому что у них не хватает ума до такого додуматься. Если я хочу в тысяча восемьсот шестидесятый год, потом в тысяча восемьсот семьдесят пятый и снова в тысяча восемьсот шестидесятый, я запрыгиваю в экспресс «Полковник Фрилей»! Вот что я тут записал: «Может, старые люди никогда не были детьми, как мы говорим про миссис Бентли, но, большими или маленькими, некоторые из них сражались при Аппоматтоксе летом тысяча восемьсот шестьдесят пятого года». Зрение у них было как у индейцев, и они затылком видели лучше, чем мы с тобой глазами.

— Все это здорово, Дуг, но что это значит?

Дуглас продолжал писать: «Это значит, у нас нет никакой возможности отправиться в дальний поход, как они. Если повезет, мы доживем до сорока, сорока пяти, пятидесяти. Для них это всего лишь небольшая пробежка по окрестностям. Вот когда тебе стукнет девяносто, девяносто пять, сто, вот тогда ты дальний странник».

Фонарик погас.

Они лежали в лунном свете.

— Том, — прошептал Дуглас. — Я должен пу-

тешествовать всеми способами и увидеть все, что возможно. Но прежде всего я должен навещать полковника Фрилея — один, два, три раза в неделю. Он лучше любых машин. Он говорит, ты слушаешь. И чем дольше он говорит, тем больше ты озираешься по сторонам и начинаешь что-то подмечать. Он тебе рассказывает, и ты мчишься на особенном поезде, и, ей-богу, это правда. Он осилил дорогу, уж он-то знает. А потом приходим мы, ты да я, той же дорогой, но издалека. Нам предстоит осмотреться, принюхаться и столько всего сделать, поэтому нужен старый полковник Фрилей, который встрепенется и велит быть начеку, чтобы запомнить каждую секунду! Каждую мелочь! И когда ты как следует состаришься и вокруг тебя соберется детвора, ты сможешь сделать для них то же, что полковник делает для тебя. Так-то, Том. Я должен чаще ходить к нему, выслушивать его, чтобы странствовать во времени вместе с ним столько, сколько он сможет.

Том какое-то время молчал. Затем посмотрел на Дугласа, лежащего в темноте.

— Дальние странствия. Ты это придумал?

— Может, да, а может, нет.

— Дальние странствия, — прошептал Том.

— Я уверен лишь в одном, — сказал Дуглас,

закрывая глаза. — От них веет одиночеством.

XVI[16]

Бах!

Грохнула дверь. На чердаке пыль слетела с секретеров и книжных шкафов. Две пожилые дамы навалились на дверь, чтобы запереть ее крепко-накрепко. Казалось, тысячи голубей взмыли с крыши, прямо у них над головой. Они пригнулись, словно под ношей, вобрав головы в плечи под барабанную дробь хлопающих крыльев. Затем они замерли с изумленными возгласами. Они слышали только звук чистейшего отчаяния, биение своих сердец… Они старались перекричать свои треволнения.

— Что мы натворили, ах, бедный мистер Квотермейн!

— Должно быть, мы задавили его насмерть. Наверняка кто-то увидел и выследил нас. Смотри…

Мисс Ферн и мисс Роберта выглянули из затянутого паутиной чердачного окна. Внизу, словно и не было никакой великой трагедии, дубы и вязы все так же тянулись к сладкому солнечному

---

[16] Сноски: 16

Рассказ Р. Брэдбери «Зеленая машина» («The Green Machine», «Argosy», March 1951).

свету. Мимо по тротуару прошагал мальчик, повернулся, снова прошагал мимо, глядя вверх.

На чердаке пожилые леди вытаращились друг на друга, словно пытались разглядеть лица друг друга в проточной воде.

— Полиция!

Но никто не молотил в дверь и не вопил: «Именем закона, откройте!»

— Кто этот мальчишка там внизу?

— Дуглас, Дуглас Сполдинг! Боже, он пришел покататься на Зеленой машине. Он не знает. Наша гордыня нас погубила. Гордыня и этот электродрандулет!

— Ах, этот ужасный коммерсант из Гампорт-Фоллс. Это все он виноват со своей болтовней.

Болтовня, болтовня, словно теплый летний дождик рассыпался по крыше.

Внезапно возник другой день и полдень. Они сидели на своей веранде, обсаженной деревьями, обмахиваясь белыми веерами, а перед ними стояли блюдца трепещущего желе.

И вдруг из ослепительного сияния, из солнечной желтизны, сверкающая, как княжеская карета…

ЗЕЛЕНАЯ МАШИНА!

Она плыла. Она шелестела, как океанский

ветерок. Нежнее кленовых листьев, свежее родниковой воды, она урчала, как горделивые коты, рыщущие в полдень. А в машине — коммерсант из Гампорт-Фоллс в панаме, нахлобученной поверх напомаженной шевелюры. Хитроумная машина на мягком резиновом ходу стремительно прокатилась по раскаленному добела тротуару, прожужжала до самой нижней ступеньки веранды и с разворотом остановилась. Торговый агент выпрыгнул и сверкнул улыбкой из-под панамы, заслонив ею солнце.

— Меня зовут Уильям Тара! А это, — он стиснул резиновую грушу, и раздался тюлений лай, — клаксон!

Он приподнял черные атласные подушки.

— Аккумуляторные батареи!

В горячем воздухе запахло грозой.

— Рычаг управления! Упор для ног! Тент! Зеленая машина в сборе!

В чердачной темноте дамы содрогнулись от воспоминаний, зажмурившись.

— Надо было проткнуть его нашими штопальными иглами!

— Ш-ш! Слушай.

Внизу кто-то постучал в переднюю дверь. Вскоре стук прекратился. Они увидели женщину,

пересекающую двор и входящую в соседский дом.

— Всего лишь Лавиния Неббс, пожаловала с пустой чашкой занять сахару, наверное.

— Держи меня. Я боюсь.

Они смежили веки. Воспоминания вновь нахлынули. Старая соломенная шляпа на железном сундуке, казалось, вдруг зацвела под лучами человека из Гампорт-Фоллс.

— Благодарю! От ледяного чая не откажусь.

В тишине слышалось, как прохладная влага вторгается в его желудок. Затем он обратил свой взор на двух старушек, словно доктор с лампочкой для осмотра глаз, ноздрей и ртов.

— Дорогие дамы, я знаю, вы полны кипучей энергии. И такими выглядите. Восемьдесят лет, — он щелкнул пальцами, — для вас сущие пустяки! Но бывают времена, когда у вас дел невпроворот, вам нужен друг, настоящий друг, который придет к вам на помощь в трудную минуту. И этот друг — двухместная Зеленая машина!

Он устремил взгляд своих блестящих зеленых глазок-стекляшек, как у лисьего чучела, на этот замечательный образчик. Под горячими солнечными лучами машина источала запах новизны, дожидаясь их, — ни дать ни взять комфортабель-

ное кресло, водруженное на колеса.

— Бесшумна, словно лебединые перья.

Они почувствовали на своих лицах слабое дуновение его дыхания.

— Прислушайтесь.

Они прислушались.

— Аккумуляторы полностью заряжены и готовы! Прислушайтесь! Ни малейшей тряски, ни звука. Электричество, знаете ли, дорогие дамы. Ее нужно только перезаряжать каждый вечер в гараже.

— А она… часом… — младшая сестра глотнула ледяного чаю… — не ударит нас током?

— Исключено!

Он снова запрыгнул в машину, обнажив зубы наподобие того, как по ночам показывают свой оскал витрины дантистов, когда проходишь мимо.

— Чаепития!

Он закружил электрокар в вальсе.

— Бридж-клубы. Вечеринки. Гала-концерты. Обеды. Дни рождения! Завтраки «Дочерей американской революции».

Он заурчал мотором, словно собирался уехать навсегда. Он повернул обратно на бесшумной резине.

— Ужины «Золотой звезды».

Он сидел чинно, согласно своим угодливым представлениям о женщинах.

— Легкость в управлении. Бесшумные, изысканные старт и торможение. Водительские права не требуются. В жаркие дни — наслаждайтесь ветерком. Ах… — Он выписывал вензеля перед верандой, запрокинув голову назад, жмурясь от упоения, а рассекаемый машиной ветер взъерошивал ему волосы.

Он подъехал к ступенькам веранды, учтиво сняв шляпу и оглядываясь на обкатанную модель, словно на алтарь семейной церкви.

— Дорогие дамы, — тихо промолвил он. — Первый взнос — двадцать пять долларов. Десять долларов в месяц на два года.

Ферн первой сбежала по ступенькам и устроилась на двойном сиденье. Ее рука томилась в нетерпении. Она подняла ее. И осмелилась сдавить резиновую грушу клаксона.

Раздался лай моржа.

Роберта на веранде завизжала в неописуемом восторге и перегнулась через перила.

Коммерсант разделил с ними их восторг. Он, смеясь, помог старшей сестре спуститься с веранды, в то же время доставая авторучку и

обшаривая свою шляпу в поисках листа бумаги.

* * *

— Так вот мы ее и купили! — вспоминала мисс Роберта на чердаке в ужасе от собственного куража. — Нас должны были предостеречь! Мне всегда казалось, что наша машина смахивает на вагончик с карнавальных горок!

— Но ведь, — сказала Ферн, оправдываясь, — у меня годами болело бедро, а ты вечно устаешь от ходьбы. Машина выглядела столь изысканно, царственно. Словно кринолины в стародавние времена. Дамы в них плыли! Зеленая машина плыла так бесшумно!

Как прогулочная лодка. Ею было так легко управлять. Нужно было только сжимать в руке рычаг.

О, первая неделя, славная и очаровательная, о, волшебные дни, залитые золотым светом, о, гудение по тенистому городку, по вечной задумчивой реке, когда, сидя прямо, улыбаясь знакомым прохожим, степенно вытягиваешь сморщенную ручку на поворотах, выдавливая сиплые звуки из черной резиновой груши на перекрестках, иногда катаешь Дугласа, или Тома Сполдинга, или других мальчиков, которые бегут рядом и галдят.

Пятнадцать медленных приятных миль в час, не больше. Они сновали взад-вперед сквозь летние солнечные лучи и тени, ветви проплывающих мимо деревьев покрывали их лица пятнышками. Они катились, как древние видения на колесах.

— А сегодня, — прошептала Ферн, — в полдень! Ох, уж этот полдень!

— Это был несчастный случай.

— Но мы сбежали, а это преступно!

Сегодняшний полдень. Запах кожаных подушек, на которых они восседали, ароматы духов тянулись за ними шлейфом, пока они катили в тихой Зеленой машине через сонный городишко.

Все произошло мгновенно. В полдень, тихо въезжая на тротуар, потому что мостовые раскалились и пылали и единственная тень была под деревьями вокруг лужаек, они выплыли на «слепой» поворот, сдавливая свой горластый клаксон. И вдруг откуда ни возьмись, как чертик из табакерки, выскочил мистер Квотермейн!

— Берегись! — закричала мисс Ферн.

— Берегись! — закричала мисс Роберта.

— Берегись! — закричал мистер Квотермейн.

И две дамы вцепились друг в друга, вместо того чтобы держать рычаг управления.

Раздался ужасающе глухой стук. Зеленая машина плыла в знойном полудне под тенистыми каштанами мимо наливающихся яблок. Они оглянулись всего лишь раз, и перед взором старушек предстала страшная удаляющаяся картина.

Старик недвижно лежал на тротуаре.

— И вот мы тут! — причитала мисс Ферн на темнеющем чердаке. — Почему мы не остановились? Почему сбежали?

— Ш-ш!

Обе прислушались.

Стук внизу повторился.

Когда он прекратился, они увидели мальчика, пересекающего лужайку в сумерках.

— Это же Дуглас Сполдинг, опять пришел покататься.

Обе с облегчением вздохнули.

* * *

Шли часы; солнце закатывалось.

— Мы просидели здесь весь день, — устало сказала Роберта. — Мы ведь не можем торчать на чердаке три недели, пока все обо всем позабудут.

— Мы помрем с голоду.

— Так как же нам быть? Думаешь, нас кто-то видел и выследил?

Они посмотрели друг на друга.

— Нет. Никто не видел.

Город притих. Во всех домишках зажглись огни. Снизу доносились запахи ужина и политой травы.

— Пора ставить мясо на огонь, — сказала мисс Ферн. — Фрэнк придет минут через десять.

— Как же мы спустимся?

— Фрэнк вызовет полицию, если в доме будет пусто. А это еще хуже.

Солнце стремительно садилось. Теперь они представляли собой лишь две движущиеся фигуры в затхлой темноте.

— Ты думаешь, — поинтересовалась мисс Ферн, — он умер?

— Мистер Квотермейн?

Молчание.

— Да.

Роберта сомневалась.

— Узнаем из вечерней газеты.

Они отворили дверь чердака и с опаской выглянули на лестничный пролет внизу.

— О, если Фрэнк узнает, он отберет у нас Зеленую машину, а ведь кататься на ней такое удовольствие, тебя обдувает прохладный ветерок, а ты смотришь на город.

— Мы ему не скажем.

— Не скажем?

Они помогли друг другу осилить скрипучие ступеньки второго этажа, останавливаясь, чтобы прислушаться… На кухне они осмотрели кладовку, испуганно выглядывали в окна и наконец принялись поджаривать гамбургер на плите. Через пять минут работы в тишине Ферн печально взглянула на Роберту и сказала:

— Я вот думаю. Мы стары и немощны и не хотим себе в этом признаваться. Мы представляем опасность для общества. Мы в долгу перед ним за свое бегство…

— И?..

На кухне воцарилась раскаленная тишина, в которой сестры смотрели друг на друга, опустив руки.

— Я думаю… — Ферн долго смотрела на стену, — мы больше никогда не должны водить Зеленую машину.

Роберта взяла тарелку и держала ее в тонкой руке.

— Никогда?

— Никогда.

— Но, — сказала Роберта, — мы не должны… избавиться от нее, правда же? Мы ведь можем

оставить ее у себя?

Ферн подумала.

— Пожалуй, да, можем оставить у себя.

— По крайней мере, это хоть что-то. Пойду вниз, отключу батареи.

Роберта, выходя, в дверях столкнулась с младшим братом Фрэнком, всего лишь пятидесяти шести лет от роду, который заходил в дом.

— Привет, сестренки! — воскликнул он.

Роберта прошмыгнула мимо него, не говоря ни слова, и погрузилась в летние сумерки. Фрэнк принес газету, которую Ферн мгновенно выхватила у него. Дрожащими руками она пролистала ее всю и со вздохом вернула ему.

— Видел только что Дуга Сполдинга. Он сказал, что принес вам весточку. Просил передать, чтобы вы ни о чем не беспокоились. Он все видел, и все в порядке. Что он хотел этим сказать?

— Понятия не имею.

Ферн повернулась к нему спиной и стала искать платок.

— Ох уж эти дети.

Фрэнк пристально посмотрел на спину сестры, потом пожал плечами.

— Ужин на подходе? — спросил он приветливо.

— Да.

Ферн накрыла кухонный столик.

Снаружи протрубил клаксон. Один, два, три раза… где-то вдали.

— Что это?

Сквозь кухонное окно Фрэнк вперился в сумерки.

— Что это Роберта задумала? Посмотри на нее. Сидит в Зеленой машине и давит на клаксон!

Один, два, еще и еще, в сумерках жалобно голосил клаксон, словно некое скорбящее животное.

— Да что на нее нашло? — недоумевал Фрэнк.

— Просто оставь ее в покое! — вскрикнула Ферн.

Фрэнк изумился.

Спустя мгновение Роберта молча вошла, не глядя ни на кого, и они сели ужинать.

XVII[17]

Первый луч света коснулся крыш. Раннее-раннее утро. На всех деревьях листья трепещут, пробуждаясь в ожидании дуновения предрассветного ветра. Затем откуда-то, из-за поворота серебряных рельсов, выкрашенный в мандариновый цвет, покачиваясь на четырех иссиня-стальных колесиках, показывается трамвай. Он в эполетах мерцающей бронзы и золотых лампасах. Хромированный колокол звонит, когда престарелый вагоновожатый стучит по нему стоптанным башмаком. Цифры спереди и по бортам — ярко-лимонные. В салоне сиденья щиплются прохладным зеленым мхом. Нечто смахивающее на кнут взмывает с крыши и, скользя по паутине проводов, натянутых высоко под пробегающими мимо деревьями, забирает свое электричество. Из всех окон веет благовониями — это всепроникающий синеватый таинственный аромат летних гроз и молний. По длинным улицам в тени вязов катит трамвай,

---

[17] Сноски: 17

Рассказ Р. Брэдбери «Трамвай» («The Trolley», Good Housekeeping July 1955).

рука вагоновожатого в серой перчатке бережно и надежно держит рычаги управления.

* * *

В полдень вагоновожатый остановил трамвай посреди квартала и высунулся из окна.

— Эге-гей!

Дуглас, Чарли, Том и все мальчики и девочки в округе увидели помахивание серой перчатки и посыпались с деревьев, бросили прыгалки лежать белыми змейками на лужайках и помчались занимать зеленые плюшевые сиденья, причем бесплатно. Зазывая всех, кондуктор мистер Тридден заслонил перчаткой щель кассы, трогая трамвай с места по тенистым улицам.

— Эй! — закричал Чарли. — Куда это все побежали?

— Последний рейс, — объявил мистер Тридден, воздев глаза к белому электрическому проводу, уходящему вдаль. — Трамваю — конец. С завтрашнего дня запускают автобусы. А меня на пенсию. Так что всех прокачу бесплатно. Побегерись!

Он перекинул латунный рычаг управления, трамвай взревел и помчался по бесконечной зеленой дуге, а время во всем мире остановилось,

как будто только дети и мистер Тридден с его чудесной машиной плыли прочь по нескончаемой реке.

— Последний день? — спросил ошеломленный Дуглас. — Так нельзя! Мало того, что с Зеленой машиной покончено — заперли в гараже, и никаких возражений. Мало того, что мои новенькие тенниски стареют и замедляют ход! Как же я буду передвигаться? Но… Но… Нельзя вот так отобрать трамвай! Как же так, — сказал Дуглас, — как ни крути, а автобус — это тебе не трамвай. Шумит иначе. Ни рельсов, ни проводов. Не брызжет искрами. Не сыплет песок на рельсы. Выкрашен по-другому. Колокола у него нет. Выдвижной подножки тоже!

— Это точно, — сказал Чарли. — Я обожаю смотреть, как трамвай выдвигает подножку, словно гармошку.

— Конечно, — сказал Дуглас.

И вот они у конечной остановки. Серебряные рельсы, заброшенные вот уже восемнадцать лет, были проложены по холмистой местности. В 1910 году на трамвае доезжали до парка Чесмана с большими корзинами для пикников. Рельсы разбирать не стали, и они знай себе ржавели посреди холмов.

— Здесь мы делаем разворот, — сказал Чарли.

— Здесь-то как раз ты ошибаешься!

Мистер Тридден врубил резервный генератор.

— А ну-ка!

Трамвай подскочил и плавно поплыл за городскую черту, свернул с улицы и покатился под горку сквозь отрезки пахучего солнечного света и обширных тенистых участков, разящих мухоморами. То тут, то там воды ручья омывали рельсы, и солнце просеивалось сквозь листву, как через зеленое стекло. Они шурша скользили по полянкам, утопающим в подсолнухах, мимо заброшенных остановок, где остались лишь россыпи конфетти из компостера, вдоль лесного ручья в царство лета, а Дуглас тем временем разглагольствовал.

— Трамвай даже *пахнет* по-другому. Я ездил на автобусах в Чикаго — очень странный запах.

— Трамваи слишком медленно ездят, — объяснил мистер Тридден. — Будут автобусы. Пассажирские и школьные.

Когда трамвай, кряхтя, остановился, мистер Тридден достал сверху большие корзины для пикника. Ребятня загалдела и принялась помогать ему нести корзины к ручью, впадавшему в тихое озеро, где с незапамятных времен стояла

оркестровая «ракушка», которую термиты перемалывали в пыль.

Они сидели, поглощая сэндвичи с ветчиной, свежую клубнику и вощеные апельсины. Мистер Тридден рассказывал, как здесь все было двадцать лет назад. По вечерам на разукрашенной сцене играл оркестр, музыканты дули в медные рожки, полный дирижер разбрасывал пот с палочки, дети и светлячки носились по зеленым травам, дамы в длинных платьях носили высокие прически «помпадур» и ходили по деревянным настилам-ксилофонам с джентльменами в удушающих воротниках. Время превратило настилы в труху. Озеро пребывало в тишине, синеве и покое. Рыбы бороздили яркие водоросли, а кондуктор все бормотал и бормотал, и детям показалось, что они очутились в другом году в компании чудесно помолодевшего мистера Триддена с глазами, горящими, как лампочки, искрящимися электричеством. Денек выдался несуетливый и непринужденный. Никто никуда не спешил. Со всех сторон лес. Солнце застыло в одной точке, а голос мистера Триддена то поднимался, то опускался, спица-стрекоза пронизывала воздух, вышивая в нем золотистые и невидимые узоры. Пчела устроилась на подсолнухе, не

переставая гудеть. Трамвай застыл, как околдованный органчик-калиопа, вспыхивая там, где на него падали лучи солнца.

По небу с криком пролетела гагара.

Кто-то поежился.

Мистер Тридден натянул свои рукавицы.

— Пора отправляться. А то ваши родители заподозрят, что я похитил вас навсегда.

В трамвае стояла тишина и прохладный полумрак, словно в кафе-мороженом. Шурша зеленой бархатистой кожей, притихшая детвора опустила сиденья и уселась спиной к спокойному озеру, покинутой сцене и доскам, которые издавали музыкальные звуки, если пройтись по ним к берегу навстречу другим землям.

Дзинь! Раздался нежный звон, вызванный ногой мистера Триддена, и они поплыли домой по покинутым солнцем лугам с увядшими цветами, по лесам, навстречу городу, который, казалось, сдавил бока трамваю своим кирпичом, асфальтом и древесиной, когда мистер Тридден остановился, чтобы высадить ребятишек на тенистой улице.

Чарли и Дуглас вылезли последними и стояли около высунутого языка трамвая — складной подножки, вдыхая электричество, наблюдая

за перчатками мистера Триддена на латунных рычагах.

Дуглас провел пальцами по зеленому речному мху, посмотрел на серебро, медь, винного цвета потолок.

— Что ж, еще раз до свидания, мистер Тридден.

— До свидания, мальчики.

— Увидимся, мистер Тридден.

— До встречи.

В воздухе раздался легкий вздох. Дверца захлопнулась, втянув свой рифленый язычок. Трамвай медленно отплыл навстречу вечеру, ярче солнца и мандаринов, в сиянии золота и лимона, завернул за угол вдалеке и пропал из виду, исчез.

— Школьные автобусы!

Чарли подошел к бордюру.

— Теперь уже и в школу не опоздаешь. Прямо с порога забирать будут. Так и проживешь всю жизнь без опозданий. Дуг, это же какой-то кошмар, ты только подумай!

Но Дуглас стоял на лужайке, рисуя в своем воображении завтрашний день, когда придут люди и зальют серебристые рельсы горячим битумом, и никому в голову не придет, что здесь когда-то бегал трамвай. Он знал, что понадобится уйма лет, чтобы забыть про рельсы, как бы глубоко они

ни были погребены. Однажды осенним, весенним или зимним утром он проснется и, даже не подходя к окну, просто лежа в тепле и уюте своей постели, расслышит его, еле-еле, далеко-далеко.

И за поворотом утренней улицы, между стройными рядами вязов, платанов и кленов, в тиши перед началом дня, у своего дома он услышит знакомые звуки, словно тиканье часов, громыхание дюжины железных бочек, гудение одной-единственной гигантской стрекозы на рассвете. Как карусель, как электрическое завихрение, цвета синей молнии, приближающееся, нагрянувшее и промчавшееся. Перезвон трамвая! Словно кран с газировкой шипел, когда выпускалась и складывалась подножка, и в своих грезах он снова пускался в плавание по утаенной и захороненной дороге к утаенной и захороненной цели…

* * *

— Сыграем в «выбей банку» после ужина? — предложил Чарли.

— Еще как сыграем! — подхватил Дуглас.

XVIII

Обстоятельства жизни Джона Хаффа, двенадцати лет от роду, излагать просто и недолго. Ни один индеец племени чокто или чероки не сравнился бы с ним в искусстве чтения следов. Он мог сигануть с верхотуры, как шимпанзе с лианы. Он умел задержать дыхание под водой аж на две минуты. Он умел нырнуть в одном месте и всплыть в пятидесяти ярдах ниже по течению. Он отбивал бейсбольные мячи прямиком в яблоню, вытрясая из нее целый урожай яблок. Он, как никто другой в нашей ватаге, умел перемахивать через шестифутовые садовые ограды, вскарабкиваться на ветки и спускаться с богатой добычей персиков, напиханной под рубашку. Он бегал и смеялся. Сидел непринужденно. Не задирался. Не вредничал. У него были темные курчавые волосы и зубы белые, как сливки. Он знал наизусть все ковбойские песни и готов был научить кого угодно, стоило лишь попросить. Он знал названия всех полевых цветов, знал, когда восходит и заходит луна, когда начинаются и кончаются отливы. Он был единственным божеством XX века,

которого Дуглас Сполдинг знавал в Гринтауне, штат Иллинойс.

И вот они с Дугласом делали очередную вылазку за город теплым и совершенным, как мраморный шарик, днем, под высоким небом дутого синего стекла. Зеркальные воды ручьев веером переливались через белые камни. Денек и впрямь выдался безукоризненный, как пламя свечи.

Дуглас шагал и думал: пусть этот день продлится вечно, такой безупречный, идеальный. Запах травы стремительно уносился далеко вперед со световой скоростью. Твой лучший друг насвистывал, как иволга, притопывая, а ты гарцевал по пыльным тропкам, позвякивая ключами. Все было совершенно, осязаемо, вблизи, рядом и навсегда.

День был такой славный, как вдруг, откуда ни возьмись, набежали тучи, заслонили солнце, да так и застряли.

На протяжении нескольких минут Джон Хафф что-то тихо говорил. Дуглас остановился посреди тропы и взглянул на него.

— Джон, повтори, что ты сказал.

— Ты все слышал, Дуг.

— Ты сказал, что… уезжаешь?

— Билет на поезд в кармане. Ту-тууу. Чух-чух-чух. Уууууу…

Его голос сошел на нет.

Джон скорбно достал желто-зеленый билет, и они принялись его разглядывать.

— Сегодня вечером! — воскликнул Дуглас. — Вот черт! Мы же собирались играть в «красный свет, зеленый свет» и в «статуи»! Как же так неожиданно? Сколько я себя помню, ты жил в Гринтауне. Нельзя же так ни с того ни с сего вдруг взять и уехать!

— Это все мой папа, — сказал Джон. — Получил работу в Милуоки. До сегодняшнего дня ничего не было известно…

— Какая жалость! У нас же на той неделе баптистский пикник, и большой карнавал ко Дню труда, и Хэллоуин… а твой папа не мог бы еще подождать?

Джон покачал головой.

— Вот беда! — сказал Дуглас. — Дай-ка присесть.

Они уселись под старым дубом на стороне холма, откуда открывался вид на город, и солнце бросало вокруг них большие трепетные тени; под сенью дуба царила пещерная прохлада. Солнце окрасило город зноем, окна стояли нараспашку.

Дугласу захотелось побежать назад, туда, где город своим весом, массой своих домов заключит Джона в свои объятия и помешает ему убежать.

— Но ведь мы друзья, — беспомощно сказал Дуглас.

— И всегда ими будем, — заверил его Джон.

— Ты же сможешь приезжать к нам, скажем, раз в неделю?

— Папа говорит, только раз или два в год. Все же восемьдесят миль.

— Восемьдесят миль — разве это далеко! — вскричал Дуглас.

— Нет, совсем не далеко, — согласился Джон.

— У моей бабушки есть телефон. Я буду тебе звонить. А может, мы все приедем к тебе. Вот было бы здорово!

Джон долго молчал.

— Ну, давай поговорим о чем-нибудь, — предложил Дуглас.

— О чем?

— Да если ты уезжаешь, у нас с тобой найдется миллион всяких тем, о которых мы бы говорили сейчас, через месяц: богомолы, цеппелины, акробаты, шпагоглотатели! Как будто ты никуда не уезжаешь, кузнечики, плевки табаком!

— Странно, но мне неохота говорить о кузне-

чиках.

— Тебе же всегда хотелось!

— Да. — Джон, не отрываясь, смотрел на город. — Просто мне не к спеху.

— Джон, что с тобой? Ты не в себе…

Джон смежил веки и поморщился.

— Дуг, дом Терле, второй этаж, помнишь?

— Еще бы.

— Цветные стекла в круглых оконцах. Они там всегда были?

— Конечно.

— Уверен?

— Ты еще не родился, когда они там были. А что такое?

— До сегодняшнего дня я их даже не замечал, — сказал Джон. — Я прогуливался по городу, взглянул вверх, а там — они. Дуг, чем я был занят столько лет, что не замечал их?

— У тебя других дел хватало.

— Неужели? — Джон повернулся и в отчаянии взглянул на Дугласа. — Черт, Дуг, почему эти окна, будь они неладны, меня так испугали? Что в них такого страшного? Просто… — Он запнулся. — Просто, если я до сих пор не замечал эти окна, тогда что еще я проворонил? А я буду помнить то, на что обратил внимание, когда уеду

из города?

— Запоминается то, что хочется запомнить. Позапрошлым летом я ходил в поход. Вот его я запомнил.

— Ничего ты не запомнил. Ты сам мне рассказывал, что просыпался по ночам и не мог вспомнить лицо своей мамы.

— Нет!

— Иногда такое бывает со мной ночами в нашем доме. Страшно до жути. Приходится пробираться в спальню родителей и смотреть на их лица, пока они спят. Потом я иду к себе и снова забываю. Боже, Дуг, боже! — Он крепко-накрепко обхватил свои колени. — Пообещай мне вот что, Дуг. Пообещай мне, что будешь меня помнить. Пообещай, что запомнишь мое лицо и все такое. Обещаешь?

— Проще простого. У меня в голове кинопроектор. Ночью в постели я мысленно включу свет, и на стене четко проявится, как ты кричишь и размахиваешь руками.

— Зажмурься, Дуг. А теперь скажи, какого цвета мои глаза? Не подглядывай. Так какого цвета они у меня?

Дуглас аж взмок. Веки нервно задергались.

— Ах, черт, Джон. Так нечестно.

— Говори!

— Карие!

Джон отвернулся.

— Нет.

— Что значит нет?

— Ничего подобного!

Джон закрыл глаза.

— Обернись, — сказал Дуглас. — Открой глаза, дай посмотреть.

— Что толку, — сказал Джон. — Ты уже забыл. А я что говорил.

— Обернись же! — Дуглас схватил его за волосы и медленно повернул к себе.

— Ладно, Дуг.

Джон открыл глаза.

— Зеленые.

Обескураженный, Дуглас опустил руку.

— У тебя зеленые глаза… Ну, почти карие. Светло-карие!

— Не ври мне, Дуг.

— Ладно, — тихо сказал Дуг. — Не буду.

Они слушали, как другие мальчишки взбегают по склону холма и что-то им кричат и орут.

* * *

Они бегали наперегонки по железнодорожному полотну, потом открыли коричневые бумажные пакеты со снедью и глубоко вдохнули ароматы сэндвичей с поперченной ветчиной, обернутых в вощанку, и солений цвета морской волны, и разноцветных мятных подушечек. Они носились без передышки. Дуглас прижал ухо к раскаленному стальному рельсу, прислушиваясь к невидимым поездам в дальних краях, отстукивающих морзянкой депеши ему под убийственными солнечными лучами. Дуглас встал как вкопанный.

— Джон!

Джон бежал, и это было ужасно. Потому что если ты бежишь, то и время бежит. Ты вопишь, горланишь, мчишься вдогонку, катишься кубарем, спотыкаешься, и вдруг солнце исчезает, завывает гудок, и тебе предстоит долгий путь домой, ужинать. Когда же ты не смотришь, солнце описывает свою дугу у тебя за спиной! Единственный способ все замедлить — это за всем следить и ничего не предпринимать! Так, созерцая, день можно растянуть аж на целых трое суток, ей-богу!

— Джон!

Теперь его не дозовешься, только хитростью.

— Джон! Уходим в отрыв от остальных!

Дуглас и Джон с улюлюканьем и с попутным ветром рванулись под горку, доверив себя силе тяготения, по лугам, в обход сараев, пока не затихли последние возгласы преследователей.

Дуглас и Джон зарылись в стог сена, который потрескивал под их тяжестью, как большой костер.

— Давай ничего не делать, — предложил Джон.

— Вот и я говорю, — подхватил Дуглас.

Они тихо сидели, переводя дух.

В сене что-то еле слышно зашебуршало, как насекомое.

Они все слышали, но даже ухом не повели. Когда Дуглас поднял запястье, звуки затикали в другом углу. Когда он положил руку себе на колени, затикало у него на коленях. Он ненадолго опустил глаза. Часы показывали три пополудни.

Дуглас украдкой передвинул правую руку в сторону тиканья, вытянул стерженек заводного механизма и перевел стрелки часов назад.

Теперь им хватало времени пристально вглядеться в окружающий мир, ощутить по небосклону движение солнца, словно огненного ветра.

Но в конце концов Джон почуял, как бестелес-

ный вес их теней перемещается и склоняется, и он промолвил:

— Который час, Дуг?

— Полтретьего.

Джон взглянул на небо.

«Нет!» — подумал Дуглас.

— Сдается мне, сейчас полчетвертого, четыре, — сказал Джон. — Вот что значит бойскаут. Нас кое-чему научили.

Дуглас вздохнул и перевел стрелки часов вперед.

Джон молча наблюдал за Дугласом. Дуглас поднял на него глаза. Джон ущипнул его, но не больно, за плечо.

* * *

С молниеносным ударом и натиском примчался и промелькнул поезд, да так стремительно, что все мальчишки, в том числе Дуглас и Джон, бросились врассыпную, крича и грозя ему вслед кулаками. Состав с двумя сотнями пассажиров на борту проревел по рельсам и скрылся из виду. Поднятая пыль пролетела за ним небольшое расстояние к югу и осела в золотистой тиши на синие рельсы.

Мальчики шагали домой.

— Когда мне исполнится семнадцать, я поеду в Цинциннати и стану пожарником на железной дороге, — поведал Чарли Вудмен.

— У меня в Нью-Йорке живет дядя, — сказал Джим. — Я поеду туда и стану печатником.

Дуг не стал расспрашивать остальных. Поезда уже гудели, и он видел, как их лица растворяются на тормозных площадках вагонов или расплющиваются об оконные стекла. Они ускользали один за другим. Наконец, опустевшие рельсы, и летнее небо, и он сам собственной персоной на другом поезде, увозящем его совсем в другую сторону.

Дуглас ощущал под ногами движение земли и видел, как их тени отрываются от травы и окрашивают воздух.

Он сглотнул слюну, затем исторг истошный вопль, размахнулся и запустил мяч со свистом под небеса.

— Кто последний добежит до дому — носорожья задница!

Они затопали по полотну железной дороги, хохоча и перемалывая воздух. При этом Джон Хафф оторвался от земли, а Дуглас — ни в какую.

* * *

Семь часов вечера. Ужин окончен, и мальчишки выбегают по одному, грохоча дверями, а родители кричат им вслед, чтобы не хлопали дверями. Дуглас и Том, Чарли и Джон и с полдюжины других мальчуганов собрались поиграть в прятки и в «фигура — замри».

— Сыграем разок, — сказал Джон. — Потом мне нужно домой. Поезд в девять. Кто водит?

— Я, — вызвался Дуглас.

— Первый раз вижу, чтобы кто-то водил по своей воле, — сказал Том.

Дуглас пристально посмотрел на Джона.

— Разбегайтесь! — закричал он.

Мальчишки задали стрекача. Джон отпрянул, потом повернулся и побежал прочь. Дуглас считал медленно, давая каждому уйти подальше, в свой мирок, рассеяться. Когда они разогнались и почти исчезли из виду, он глубоко вздохнул.

— Фигура, замри!

Все окаменели.

Дуглас стремительно пересек лужайку, где Джон Хафф застыл в сумерках как железный олень.

Вдалеке остальные мальчишки стояли с под-

нятыми руками и блестящими глазами, как у плюшевых бе́лок.

А Джон неподвижно стоял один, и никто не смел вмешиваться или поднимать шум и портить этот момент.

Дуглас обошел изваяние с одной стороны, потом с другой стороны. Истукан не пошевелился. Не проронил ни слова. Уставился на горизонт. С полуулыбкой на губах.

Давным-давно в Чикаго они зашли в большое здание с мраморными скульптурами, и он молча описывал вокруг них круги. А теперь вот Джон Хафф с травяными пятнами на коленках и на седалище, расцарапанными пальцами и ссадинами на локтях. Тенниски Джона Хаффа угомонились, ступни обуты в оболочку тишины. Вот уста, отведавшие этим летом уйму абрикосовых пирогов, изрекшие одно-два негромких высказывания о жизни и ее обстоятельствах. Вот глаза — не слепые, как у статуи, а до краев налитые расплавленным зеленым золотом. Вот при малейшем дуновении ветерка темные волосы развеваются то на север, то на юг, то на все четыре стороны. Вот руки, к которым приставало все, что только есть в городе: дорожный грунт, кусочки древесной коры, запахи пеньки, лозы, зеленых яблок,

старинных монет или лягушат-огуречков. Вот уши, сквозь которые просвечивает солнышко, как сквозь яркую теплую свечу с персиковым ароматом, а вот еще его невидимое дыхание, благоухающее мятной жвачкой.

— Ни с места, Джон, даже моргать не смей, — велел Дуглас, — приказываю: чтоб три часа как вкопанный стоял!

— Дуг…

Джон зашевелил губами.

— Замри! — скомандовал Дуглас.

Джон опять возвел глаза к небу, но улыбаться перестал.

— Мне пора, — прошептал он.

— Не смей даже ухом повести! Играем по правилам!

— Мне уже домой надо, — сказал Джон.

Теперь статуя задвигалась, опустила воздетые ввысь руки и повернула голову, чтобы взглянуть на Дугласа. Они стояли, глядя друг на друга. Остальные ребята тоже стали опускать руки.

— Играем еще один кон, — объявил Джон, — кроме этого. Я вожу. Бегите!

Мальчики побежали.

— Фигура, замри!

Мальчишки замерли, и с ними Дуглас.

— Стоять, — кричал Джон, — не двигаться!

Он подошел к Дугласу и остановился.

— Другого выхода нет, — сказал он.

Дуглас смотрел в сумеречное небо.

— Замереть, застыть, всем до единого, на три минуты! — сказал Джон.

Дуглас чувствовал, что Джон ходит вокруг него, как только что он ходил вокруг Джона. Он почувствовал, как Джон ткнул его небольно в плечо.

— Бывай, — сказал он.

Поспешно зашелестели прочь шаги; он и не оглядываясь знал, что у него за спиной никого нет.

Издалека послышался паровозный гудок.

Дуглас простоял целую минуту, дожидаясь, когда же стихнет топот бегущих ног, но он не прекращался. Джон убегает, но что-то не похоже, что он очень далеко, думал Дуглас. Почему он еще бежит?

А потом он догадался — это стучит сердце у него в груди.

Хватит! Его рука рванулась к груди. Довольно бегать! Терпеть не могу этот звук!

Затем он обнаружил, что шагает по лужайкам промеж изваяний, и его не волновало, возвращаются они к жизни или нет. Казалось, они вообще

не шевелятся. А у него ожили только ступни и колени. Остальное же стылым камнем тяготило его.

Поднимаясь на веранду своего дома, он резко обернулся, чтобы взглянуть на лужайки у себя за спиной. Они опустели.

Россыпь винтовочных выстрелов. По всей улице предзакатным залпом наперебой захлопали москитные сетки.

Статуи — лучше всего, думал он. Только их и можно удержать на лужайке. Главное — не давать им шевелиться. Дай им волю, и с ними уже не сладишь.

Внезапно он выбросил кулак, словно выстрелил поршнем из своего бока, и энергично затряс им перед лужайками, улицей и сгустившимися сумерками. Лицо налилось кровью, глаза метали искры.

— Джон! — закричал он. — Эй, Джон! Джон, ты мой враг, слышишь? Ты мне не друг! Не возвращайся, никогда! Проваливай! Ты — враг. Понял? Вот ты кто! Между нами все кончено! Ты негодяй, дрянь! Джон, ты слышишь, Джон!

Небо помрачнело, словно в огромной прозрачной лампе за городом кто-то прикрутил фитиль. Он стоял на веранде. Его рот лихорадоч-

но дергался. Сотрясался кулак, нацеленный на дом, стоявший чуть поодаль на той стороне. Он взглянул на кулак, и дом растаял вместе с окружающим его мирком.

Поднимаясь в темноте по ступенькам, он лишь ощущал свое лицо, но не видел ни себя, ни даже свои кулаки. Он твердил про себя: «Я в бешенстве. Я зол. Я его ненавижу. Я в бешенстве. Я зол. Я его ненавижу!»

Минут через десять во тьме он медленно добрался до верхней ступеньки…

* * *

— Том, — попросил Дуглас, — пообещай мне одну вещь, ладно?

— Обещаю. А что именно?

— Ты мой брат. Иногда я на тебя сержусь. Только будь рядом, ладно?

— Значит, мне можно ходить за тобой и за большими ребятами, когда вы идете в походы?

— Ну… в общем… даже так. Я хочу сказать, не пропадай, хорошо? Чтобы никакой автомобиль тебя не переехал, чтобы ты не свалился со скалы.

— Еще чего! Ты за кого меня принимаешь?

— Конечно, когда станет хуже некуда и мы оба совсем уж состаримся… нам стукнет сорок — со-

рок пять… где-нибудь на Западе мы будем владеть золотым рудником, будем посиживать и курить кукурузные рыльца и отрастим бороды.

— Бороды отрастим! Ух ты!

— Так вот я и говорю, никуда не пропадай и чтобы с тобой ничего не стряслось!

— Можешь на меня положиться, — заверил его Том.

— Я не о тебе беспокоюсь, — сказал Дуглас. — А о том, как Господь заправляет всем миром.

Том призадумался над сказанным.

— С ним все в порядке, Дуг, — сказал Том. — Он старается.

XIX

Она вышла из ванной, смазывая йодом палец, который чуть не оттяпала, отрезая себе ломтик кокосового торта. И как раз в этот момент по ступенькам веранды поднялся почтальон, отворил дверь и вошел в дом. Дверь хлопнула. Эльмира Браун так и подскочила на месте.

— Сэм! — вскричала она.

Она помахала пальцем в воздухе, чтобы охладить жжение.

— Я так и не привыкла к тому, что мой муж — почтальон. Всякий раз, как ты заходишь, я пугаюсь до смерти.

Сэм Браун стоял с полупустой почтовой сумкой, почесывая голову. Он обернулся на дверь, словно посреди славного мирного летнего утра, откуда ни возьмись накатила волна тумана.

— Ты сегодня рано, Сэм, — заметила она.

— Не могу больше, — сказал он озадаченно.

— Выкладывай, что стряслось?

Она подошла и взглянула ему в лицо.

— Может, ничего, а может, много чего. Только что доставил почту Кларе Гудуотер с нашей

улицы…

— Кларе Гудуотер!

— Ладно, не заводись! Книги ей прислали из компании «Джонсон-Смит», что в Расине, штат Висконсин. Называется книга… дай-ка вспомнить.

Он состроил гримасу, потом избавился от нее.

— Альбертус Магнус. Вот. «Одобренные, проверенные, симпатические и натуральные ТАЙНЫ ЕГИПЕТСКИЕ, или…»

Он уставился на потолок, вызывая в памяти заголовок.

— «Белая и черная магия для человека и зверя, проливающая свет на запретные знания и таинства древних философов»!

— Кларе Гудуотер, говоришь?

— Пока я к ней добирался, заглянул в первые страницы. Что же в этом плохого? «Сокровенные тайны жизни, разоблаченные достославным ученым, философом, аптекарем, натуралистом, психомистом, астрологом, алхимиком, металлургом, чародеем, толкователем магии и колдовских мистерий, вместе с невразумительными воззрениями многочисленных искусств и наук… туманных, незамысловатых, практичных и т. д.». Да ей-богу, у меня голова как ящик от «Кодака».

Слова запомнил, смысла не понял.

Эльмира разглядывала смазанный йодом палец, словно это был указующий на нее перст чужака.

— Клара Гудуотер, — пробормотала она.

— Уставилась мне прямо в глаза, когда я протягивал ей книги, и говорит: «Вот, собираюсь стать первоклассной колдуньей, даже не сомневайтесь. Диплом получу, глазом моргнуть не успеете. Разверну свой бизнес: «Привораживаю толпы и индивидов, взрослых и молодых, больших и маленьких». Потом она вроде как хохотнула, уткнулась носом в эту книгу и зашла внутрь.

Эльмира разглядывала синяк на плече, кончиком языка коснулась расшатанного зуба.

Грохнула дверь. Том Сполдинг, сидевший на корточках посреди лужайки Эльмиры Браун, поднял глаза. Он слонялся по округе, наблюдая за житьем-бытьем муравьев, и набрел на весьма примечательный муравейник с большой норой, в которой копошились всевозможные огненно-рыжие мураши, рассекая пространство и самозабвенно перетаскивая добычу в виде околевших кузнечиков и бесконечно малых птичек в недра земли. Тут он обнаружил кое-что еще: миссис Браун раскачивалась на краю веранды,

словно только сейчас ее озарило, что наш мир проваливается в космос со скоростью шестьдесят триллионов миль в секунду. У нее за спиной стоял мистер Браун, не разбирающийся ни в милях, ни в секундах, и даже если бы разбирался, ему было бы безразлично.

— А! Том! — воскликнула миссис Браун. — Мне требуется моральная поддержка и заменитель крови Агнца. Следуй за мной!

И она сорвалась с места, давя муравьев и сшибая головки одуванчиков, напролом через дворы, мимо лунок на клумбах.

Сидящий на корточках Том чуть помедлил, изучая лопатки и позвонки безудержно несущейся по улице миссис Браун. Ее косточки красноречиво поведали Тому, что ей присущи театральность и авантюризм, нечто такое, что в его глазах никак не вязалось с женщинами, хотя миссис Браун носила намек на пиратские усы. Спустя мгновение Том последовал за ней тандемом.

— Миссис Браун, ну и безумный же у вас видок!

— Э-э! Что ты знаешь о безумии, ребенок!

— Осторожней! — вскричал Том.

Миссис Эльмира Браун перелетела через железную собачку, мирно спящую в зеленой травке.

— Миссис Браун!

— Нет, ты видел? — Миссис Браун сидела на земле. — Это все Клара Гудуотер натворила! Колдовство!

— Колдовство?

— Ладно, проехали, мальчик. Вот ступеньки. Иди первым и оборви по пути все, какие есть, невидимые струны. Позвони в дверь, но быстро отдерни палец, чтобы тебя не испепелило током!

Том и не подумал притрагиваться к звонку.

— Клара Гудуотер! — Миссис Браун ткнула кнопку звонка смазанным йодом пальцем.

Далеко в недрах прохладных затененных комнат большого старинного дома затренькал и угас серебряный колокольчик.

Том прислушался. Все еще издалека доносился шорох мышиной беготни. В отдаленной гостиной мелькнула тень, а может, колыхнулась на ветру занавеска.

— Войдите, — произнес тихий голос.

И вдруг, откуда ни возьмись, за москитной сеткой возникла миссис Гудуотер, свежая, словно мятная карамельная тросточка.

— Заходите же, Том, Эльмира. Что…

— Не напирайте! Мы пришли по поводу ваших занятий с целью стать полноценной ведьмой!

Миссис Гудуотер улыбнулась.

— Ваш муженек-письмоносец по совместительству еще и блюститель закона. Куда угодно носом дотянется!

— Он в почту не подглядывал.

— Да он целых десять минут идет от дома до дома и смеется над открытками, да в придачу примеряет обувь из посылок.

— Он не смотрел. Ведь это вы ему поведали о полученных книгах.

— Шутка! Собираюсь стать ведьмой! Сказано — сделано! И Сэма как ветром сдуло, словно я метнула в него молнию! Со всей ответственностью заявляю: у этого человека в мозгу ни единой извилины!

— Да вы сами вчера повсюду разглагольствовали о своем колдовстве…

— Это вы про «Сэндвич-клуб»…

— Куда меня демонстративно не пригласили.

— Что вы, дорогая, мы думали, вы по этим дням навещаете свою бабушку.

— К бабушке я могу ходить и в другие дни, если меня куда-то приглашают.

— В «Сэндвич-клубе» я всего-навсего сидела, держа в руке сэндвич с ветчиной и соленьями, и во всеуслышание возвестила: «Наконец-то я

получу диплом ведьмы. Все-таки столько лет училась!»

— Именно об этом мне и поведал телефон!

— Ох, уж эти современные изобретения! — сказала миссис Гудуотер.

— Учитывая то обстоятельство, что вы председательствуете в Дамской ложе «Жимолость» аж со времен Гражданской войны, то я требую ответа: вы все эти годы прибегали к магии, чтобы заморачивать головы женщинам и побеждать на выборах?

— Вы еще сомневаетесь, дорогая? — сказала миссис Гудуотер.

— Завтра снова выборы, и я только хочу знать, собираетесь ли вы переизбираться и есть ли у вас стыд и совесть?

— На первый вопрос ответ положительный, на второй — отрицательный. Дорогая, поймите, я купила эти книги для моего кузена Рауля. Ему всего десять, и он в каждой шляпе выискивает кроликов. Я говорила ему, что шансов найти кролика в шляпе не больше, чем обнаружить мозги в головах некоторых людей, а он все не унимается, вот я приобрела для него эти книги в подарок.

— Поклянитесь вы хоть на целой стопке Библий, все равно не поверю!

— Чистая правда, однако. Обожаю развлекаться магией. Дамы прямо-таки визжали от восторга, когда я рассказала о своих черных магических силах. Как жаль, что вас не было.

— Я там буду завтра, чтобы бороться с вами золотым крестом и всеми силами добра, какие только смогу собрать под свои знамена, — сказала Эльмира. — А сейчас ответствуйте мне, сколько еще всякого колдовского барахла есть у вас в доме?

Миссис Гудуотер указала на столик за дверью.

— Я скупаю всяческие магические травы. Они диковинно пахнут, чем приводят Рауля в восторг. Вот — в мешочке Рута Физидийская, Корень Сабиссы, Эбеновые Травы[18]; черная сера, а это, говорят, костяная мука.

— Костяная мука! — Эльмира отпрянула, стукнув Тома по щиколотке. Том взвизгнул.

— А это полынь и листья папоротника, от которых дробовики дают осечку, а еще они позволяют летать в своих грезах, словно летучая мышь, согласно Главе X в этой книжечке. Думаю, подрастающим мальчикам только на пользу забивать головы такими вещами. Судя по выражению на

---

[18] Сноски: 18

Рута Физидийская, Корень Сабиссы, Эбеновые Травы — вымышленные растения.

вашем лице, вы не верите в существование Рауля. Ничего, я дам вам его спрингфилдский адрес.

— Угу, — сказала Эльмира, — и в день, когда я ему напишу, вы сядете в автобус до Спрингфилда, отправитесь в отдел доставки, перехватите мое письмо и ответите мне детским почерком. Знаю я ваши штучки!

— Послушайте, миссис Браун, давайте начистоту — вам хочется стать президентом Дамской ложи «Жимолость»? Так ведь? Вы выдвигаете свою кандидатуру. И всегда получаете один голос. Свой собственный. Эльмира, если бы дамы захотели, они отдали бы за вас лавину голосов. Только вот гляжу я на гору, а с нее хоть бы что-нибудь скатилось, кроме вашего камушка. Послушайте, завтра днем я сама выдвину вашу кандидатуру. Что скажете?

— Согласна, черт возьми, — сказала Эльмира. — В прошлом году я так простудилась прямо перед выборами, что не смогла ходить по домам и проводить предвыборную агитацию. В позапрошлом году я сломала ногу. Очень подозрительно. — Она искоса взглянула на даму за москитной сеткой. — И это еще не все. Месяц назад я шесть раз порезала себе палец, десять раз ушибла колено, дважды вывалилась с задней веранды. Слышали?

Дважды! Разбила окно, уронила четыре тарелки и одну вазу за доллар и сорок девять от «Биксби». С этого дня за каждую расколоченную тарелку в моем доме и его окрестностях расплачиваться придется вам!

— Этак я разорюсь к Рождеству, — сказала миссис Гудуотер.

Она распахнула дверь с москитной сеткой и внезапно вышла наружу, хлопнув дверью.

— Эльмира Браун, сколько вам лет?

— У вас наверняка записано в ваших черных книгах. Тридцать пять!

— Когда я думаю о тридцати пяти годах вашей жизни… — Миссис Гудуотер поморщила губы и заморгала глазами, ведя подсчеты. — Получается где-то двенадцать тысяч семьсот семьдесят пять дней или, если считать по три в день, то будет двенадцать тысяч переполохов, двенадцать тысяч бедствий, двенадцать тысяч катастроф. До чего же насыщенной жизнью вы живете, Эльмира Браун. Жму руку!

— Прочь! — отпихнула ее Эльмира.

— Ну что вы, дорогая. Вы занимаете всего лишь второе место среди неуклюжих женщин Гринтауна, штат Иллинойс. Вы не можете сесть без того, чтобы стул под вами не сложился гармошкой. Вы

не можете встать без того, чтобы не выместить на ком-нибудь злость. Вы не можете пройти по лужайке без того, чтобы не плюхнуться в колодец. Ваша жизнь, Эльмира Элис Браун, одно непрерывное падение. Так почему бы в этом не признаться?

— Все мои беды не от неповоротливости, а оттого, что вы находитесь в пределах одной мили от меня всякий раз, когда я роняю кастрюлю с бобами или попадаю пальцем в розетку и меня дергает током.

— Дорогуша, в городке таких размеров все находятся в пределах одной мили от кого-то другого в то или иное время суток.

— Так вы признаете, что были неподалеку?

— Я признаю, что родилась здесь, но я ничем не поступилась бы, только бы родиться в Кеноше или Сионе. Эльмира, сходите к своему дантисту, пусть он сделает что-нибудь с вашим змеиным языком.

— О-о! — воскликнула Эльмира. — О-о! О-о! О-о!

— Ну, это уже ни в какие ворота не лезет! Колдовство меня не интересовало, но теперь я возьмусь за это дело всерьез. Послушайте, сейчас вы стали невидимы! Пока вы тут торчали, я навела на вас порчу. Теперь вы исчезли из виду!

— Ничего подобного!

— Конечно, — призналась ведьма. — Я никогда вас в упор не видела, дамочка.

Эльмира достала карманное зеркальце.

— Вот же я!

Она присмотрелась и ахнула. Она занесла руку вверх, словно собиралась настраивать арфу и щипнула струну. Она подняла ее на всеобщее обозрение. Вот она, Улика № 1.

— У меня никогда не было седых волос вплоть до этой самой секунды!

Ведьма очаровательно улыбнулась.

— Поместите этот волос в банку с водой, и наутро он превратится в земляного червя. Ах, Эльмира, взгляните же на себя, наконец! Все эти годы вы только и делаете, что вините других за свою косолапость и неуклюжие повадки! Шекспира читали? Так вот у него есть ремарки «ШУМ и ГАМ». Так вот это про вас, Эльмира. Шум и гам! А теперь марш домой, а не то я пересчитаю все шишки у вас на голове и предскажу газы на ночь. Кыш!

Она помахала руками в воздухе, словно Эльмира превратилась в облако всякой всячины.

— Боже, сколько же мух расплодилось этим летом! — сказала она.

Она зашла в дом и заперла дверь на крючок.

— Черта подведена, миссис Гудуотер, — сказала Эльмира, скрещивая руки на груди. — Даю вам последний шанс. Снимите свою кандидатуру в Ложе «Жимолость», или будете иметь дело со мной. Завтра, когда я выдвину свою кандидатуру и отберу у вас эту должность в честном бою, со мною будет Том. Хороший, невинный мальчик. Невинность и добрая воля возьмут верх.

— На вашем месте я бы не стал рассчитывать на мою невинность, миссис Браун, — сказал мальчик. — Моя мама говорит…

— Замолчи, Том! От добра добра не ищут! Ты будешь стоять по мою правую руку, мальчик!

— Да, мэм, — сказал Том.

— Мне бы только, — сказала Эльмира, — пережить эту ночь, пока эта дамочка будет лепить мои восковые фигурки и вонзать им в сердце и душу ржавые иглы. Если завтра в моей постели ты найдешь большую сморщенную иссохшую смокву, то будешь знать, кто сорвал плод в винограднике. И пусть миссис Гудуотер президентствует, пока ей не стукнет сто девяносто пять лет.

— Ну почему же, дамочка, — возразила миссис Гудуотер. — Мне сейчас триста пять. В старые добрые времена про меня говорили ОНА.

И она ткнула пальцами в сторону улицы.

— Абракадабра! Абракадабра! Зззз-ЗАМ!!! Ну, как, нравится?

Эльмиру как ветром сдуло с веранды.

— Завтра! — закричала она.

— Пока, пока, дамочка! — сказала миссис Гудуотер.

Том шагал вслед за Эльмирой, пожимая плечами и сметая с тротуара муравьев.

Перебегая подъездную дорожку, Эльмира истошно завопила.

— Миссис Браун! — вскрикнул Том.

Автомобиль, выезжавший задним ходом из гаража, переехал большой палец на ноге Эльмиры.

* * *

Посреди ночи у Эльмиры Браун разболелась ступня. Она встала и спустилась в кухню поесть холодной курятины и составить аккуратный и до боли исчерпывающий список всякой всячины. Во-первых, прошлогодние болезни. Три простуды, четыре легких несварения, одно вздутие живота, артрит, люмбаго, как ей показалось, подагра, тяжелый бронхиальный кашель, астма в начальной стадии, пятна на руках и в придачу абсцесс полукружного канала, из-за которого она

шаталась, как пьяная мошка, ломота в пояснице, головная боль и тошнота. Лекарства ей обошлись в девяносто восемь долларов семьдесят восемь центов.

Во-вторых, вещи, разбитые в доме за последние двенадцать месяцев: две лампы, шесть ваз, десять тарелок, одна супница, два окна, один стул, одна диванная подушка, шесть стаканов и хрустальная призма от люстры. Всего убытку: двенадцать долларов десять центов.

В-третьих, ее боли этой ночью. Болел палец ноги, по которому проехала машина. Расстройство желудка. Спина не сгибается, ноги лихорадочно пульсируют. Глазные яблоки — словно комки горячей ваты. Привкус на языке, как от пыльной тряпки. В ушах перезвон. Издержки? Она спорила сама с собой, возвращаясь в постель.

Десять тысяч долларов за личные страдания.

— Попытайся все уладить во внесудебном порядке, — сказала она вполголоса.

— Что? — спросил муж спросонья.

Она легла в постель.

— Просто я отказываюсь умирать.

— Что такое? — спросил он.

— Я не умру! — сказала она, глядя в потолок.

— Это я всегда и говорю, — сказал ее муж, пово-

рачиваясь на бок, чтоб удобнее было храпеть.

* * *

Утром миссис Эльмира Браун встала спозаранку и сходила в библиотеку, потом в аптеку и вернулась домой, где занялась перемешиванием всяческих химикалий, когда ее муж Сэм пришел в полдень домой с пустой почтовой сумкой.

— Обед в леднике.

В большом стакане Эльмира взбалтывала зеленоватую кашицу.

— Боже праведный! Это еще что такое? — изумился муж. — Молочный коктейль, выставленный на солнце лет на сорок? Плесень?

— Магия против магии.

— Ты что, собираешься это пить?

— Перед тем как отправлюсь в Дамскую ложу «Жимолость», где меня ждут великие дела.

Сэмюэль Браун понюхал варево.

— Послушай моего совета. Сначала поднимись по этим ступенькам, потом только пей. Что там намешано?

— Снег с ангельских крыльев, а на самом деле — ментол для остужения сжигающего адского пламени. Так сказано в этой библиотечной книге. Сок свежего винограда с лозы для ясности мысли

перед лицом мрачных видений. А также ревень, винный камень, белый сахар, яичный белок, родниковая вода и бутоны клевера, напитанные доброй силой земли. Продолжать можно до вечера. Все тут записано. Добро против зла. Белое против черного. Я не могу проигрывать!

— О, ты, конечно, победишь, — заверил ее муж. — Только как ты об этом узнаешь?

— Думай только хорошее. Я иду за Томом — он мой оберег.

— Бедный мальчик, — сказал муж. — Как ты говоришь, невинное создание, которому суждено быть разорванным на куски на этой дешевой распродаже в Ложе «Жимолость».

— Том выживет, — сказала Эльмира и, прихватив с собой стакан булькающей бурды, спрятала его в коробку из-под овсянки, вышла из дверей, не зацепившись платьем, не порвав новые чулки за девяносто восемь центов. Осознав происходящее, Эльмира с воодушевлением прошла всю дорогу до дома, где ее дожидался Том в белом летнем костюмчике, как она ему велела.

— Ух ты! — сказал Том. — Что это у вас в коробке?

— Судьба, — сказала Эльмира.

— Будем надеяться, — сказал Том, опережая ее

на два шага.

* * *

В Ложе «Жимолость» многочисленные дамы гляделись в зеркальца и оправляли юбки, спрашивая друг друга, не проглядывает ли нижнее белье.

В час дня миссис Эльмира Браун поднялась по ступенькам в сопровождении мальчика в белых одеждах. Он держался за нос и щурился, чтобы хотя бы одним глазом видеть, куда он ступает. Миссис Браун оглядела толпу, затем коробку из-под овсянки, сняла с нее крышку, и у нее перехватило дыхание. Она вернула крышку на место, не пытаясь ничего выпить. Она прошествовала в глубину зала в сопровождении тафтяного шелеста, и все дамы перешептывались ей вслед.

Она уселась с Томом в задних рядах, и Тому было тошно, как никогда. Один его открытый глаз глядел на толпу дам и больше не закрывался. Сидя на своем месте, Эльмира извлекла свой эликсир и медленно выпила.

В половине второго президент миссис Гудуотер громыхнула председательским молотком, и все дамы, за исключением пары десятков, прекратили разговоры.

— Уважаемые дамы, — провозгласила она поверх моря шелков и кружев, увенчанных то тут, то там белыми или серыми шляпками. — Настала пора выборов. Но прежде чем начать, я полагаю, миссис Эльмира Браун, супруга нашего выдающегося графолога…

По залу пробежало хихиканье.

— Что значит «графолог»? — Эльмира дважды толкнула Тома локтем.

— Не знаю, — отчаянно прошептал Том, зажмурив глаза, ощущая, что локоть возник из тьмы.

— …супруга, как я сказала, нашего выдающегося почерковеда, Сэмюэля Брауна… (хохот в зале)… из Почтовой службы США, — закончила миссис Гудуотер. — Миссис Браун хочет поделиться с нами своими соображениями. Миссис Браун?

Эльмира встала. Ее стул опрокинулся и грохнул, как медвежий капкан. Она подскочила на целый дюйм и закачалась на каблуках, которые заскрипели, словно собирались в любой момент рассыпаться в прах.

— Мне есть что сказать, — промолвила она, удерживая в одной руке пустую коробку из-под овсянки и Библию.

Другой рукой она вцепилась в Тома и рванулась вперед, расталкивая чужие локти и бурча:

«Смотрите, куда идете! Полегче, вы там!» — чтобы дойти до сцены. Обернулась, опрокинула стакан с водой, разлив ее по столу. И при этом наградила колким взглядом миссис Гудуотер, которой пришлось вытирать разлитую влагу крошечным платочком. Затем с затаенным торжеством Эльмира достала опустошенную склянку из-под зелья, продемонстрировала миссис Гудуотер и прошептала:

— Вы знаете, что в ней было? Теперь ее содержимое во мне, дорогая. Я внутри магического круга. Ни одно лезвие не протиснется, ни один топор не прорубит.

За всеобщим гомоном дамы ничего не услышали.

Миссис Гудуотер кивнула, воздела руки ввысь, и воцарилась тишина.

Эльмира держалась за руку Тома, а тот морщился, зажмурив глаза.

— Дорогие дамы, — сказала Эльмира, — я вам сочувствую. Я знаю, через что вы прошли за эти десять лет. Я знаю, почему вы голосовали за миссис Гудуотер. Ведь у вас сыновья, дочери, мужья. Вам нужно сводить концы с концами. И вам не по карману скисшее молоко, падающий хлеб, плоские, как колеса, коржи пирогов? Вам же не

хотелось, чтобы у вас в доме на три недели поселилась свинка, ветрянка и коклюш в придачу? Вам же не хотелось, чтобы ваш муж разбился на автомобиле, чтобы его ударили током высоковольтные провода за городом? Но теперь с этим покончено. Вы можете выйти на свободу. Довольно изжог и прострелов, ибо я пришла с доброй вестью и собираюсь изгнать ведьму, которая у нас завелась!

Все стали озираться по сторонам, но никакой ведьмы не обнаружили.

— Это ваш президент! — воскликнула Эльмира.

— Это — я! — Миссис Гудуотер помахала всем рукой.

— Сегодня, — тяжело дыша, сказала Эльмира, хватаясь за стол, чтобы устоять на ногах, — я пошла в библиотеку. На поиски противоядия: как избавляться от тех, кто нас эксплуатирует. Как заставить ведьму убраться восвояси. И я выяснила, как отстоять свои права. Я чувствую, как во мне нарастают силы. Я вобрала в себя магию всевозможных полезных кореньев и химикалий. Я… — Ее качнуло, она запнулась и моргнула. — У меня есть винный камень и… белая ястребинка, молоко, прокисшее под лунным светом, и…

Она умолкла и призадумалась. Сомкнула губы, и в глубине ее души возник тонюсенький голосок и стал подниматься, чтобы выйти из уголков ее рта. Она закрыла глаза на мгновение, чтобы поискать, куда девались силы.

— Миссис Браун, вам плохо? — полюбопытствовала миссис Гудуотер.

— Мне хорошо! — медленно ответила миссис Браун. — Я приняла морковного порошка и мелко нарезанного корня петрушки, ягод можжевельника…

Она опять умолкла, словно некий голос сказал ей «МОЛЧИ», и стала разглядывать все лица вокруг.

Она заметила, что зал стал медленно поворачиваться сначала слева направо, потом справа налево.

— Корни розмарина и цветки лютика… — промолвила она весьма туманно.

Она отпустила руку Тома. Тот открыл один глаз и взглянул на нее.

— Лавровый лист, лепестки настурции… — произнесла она.

— Может, вам лучше присесть, — предложила миссис Гудуотер.

Одна сидевшая сбоку дама подошла и распах-

нула окно.

— Сухие орехи катеху, лаванда и семечки райских яблочек, — сказала миссис Браун и остановилась. — А теперь давайте, не медля, проведем выборы. Нужно голосовать. Я подсчитаю голоса.

— Что за спешка, Эльмира, — сказала миссис Гудуотер.

— Так надо.

Эльмира сделала глубокий дрожащий вдох.

— Помните, дамы. Забудем страх. Поступайте, как вам всегда хотелось. Голосуйте за меня, и…

Зал опять задвигался, вверх, вниз.

— Неподкупность правления. Все, кто за то, чтобы президентом была миссис Гудуотер, скажите «Да».

— Да, — сказал весь зал.

— Все, кто за миссис Эльмиру Браун? — сказала Эльмира слабым голосом.

И сглотнула слюну.

Мгновение спустя ее голос прозвучал в одиночестве.

— Да, — сказала она.

Она в растерянности стояла на трибуне.

Зал до краев заполнила тишина. И в этой тишине миссис Эльмира Браун исторгла квакающий звук. Она приложила руку к горлу.

Повернулась и затуманенными глазами посмотрела на миссис Гудуотер, которая как бы между прочим достала из сумочки восковую куколку, утыканную ржавыми канцелярскими кнопками.

— Том, — сказала Эльмира, — проводи меня до дамской комнаты.

— Да, мэм.

Они зашагали, затем заторопились и, наконец, побежали. Эльмира неслась впереди по проходу между рядами, рассекая толпу… Она домчалась до двери и направилась влево.

— Стойте, Эльмира, направо, направо! — закричала миссис Гудуотер.

Эльмира повернула влево и исчезла.

Раздался грохот съезжающего по желобу угля.

— Эльмира!

Дамы забегали, как баскетбольная команда девочек, сталкиваясь друг с другом.

Только миссис Гудуотер шла по прямой.

Она обнаружила Тома, вцепившегося в балюстраду и смотрящего вниз, в лестничный пролет.

— Сорок ступенек! — простонал он. — Сорок ступенек до самого низа!

* * *

Впоследствии, спустя месяцы и годы, рассказывали, как нетрезвая Эльмира Браун на своем долгом пути вниз пересчитала все до единой ступеньки. Утверждалось, в начале падения она была недужна до бесчувствия, отчего ее скелет будто обрезинился, и она как бы покатилась клубочком, вместо того чтобы подскакивать, стукаясь об каждую ступеньку. Она приземлилась на лестничной площадке, хлопая глазами, избавившись по пути от всего, что ее отягощало. Естественно, синяки и ссадины испещрили ее, как татуировка. Но зато ни тебе вывихнутых лодыжек, ни растянутых запястий. Правда, дня три она странно держала голову, глядя искоса вместо того, чтобы повернуться и посмотреть. Но самое примечательное то, что на месте падения миссис Гудуотер в окружении роя взбудораженных дам орошала слезами голову Эльмиры, положив ее себе на колени.

— Эльмира, я обещаю, Эльмира, я клянусь, ты только выживи, ты только не умирай, слышишь, Эльмира. Послушай меня! Отныне я буду пользоваться магией только в добрых целях. Довольно черной магии, ничего, кроме белой. Теперь всю

твою жизнь не будет спотыканий о железных собак и пороги, резаных пальцев, падений с лестниц! Одно блаженство, Эльмира, блаженство, слово даю! Только выживи! Смотри, я вытаскиваю кнопки из куклы! Эльмира, говори со мной! Заговори сейчас же и садись! И поднимайся в зал для нового голосования. Обещаю тебе избрание президентом Дамской ложи «Жимолость» на основании единодушного одобрения. Согласны, дамы?

И тут все дамы зарыдали так, что им пришлось опираться друг на друга.

Том наверху подумал, что там, внизу, случился смертельный исход.

Он уже был на полпути вниз, когда ему встретились дамы, поднимающиеся назад в зал с таким видом, будто они пережили взрыв динамита.

— Мальчик, не мешайся под ногами!

Первой шествовала миссис Гудуотер, смеясь и плача.

Второй — миссис Эльмира Браун, следуя ее примеру.

А за ними двумя поднимались все сто двадцать три члена Ложи, не понимая, возвращаются ли они с похорон или направляются на бал.

Он посмотрел им вслед и покачал головой.

— Больше я им не нужен, — сказал он. — Совсем не нужен.

И, пока они не хватились его, он засеменил вниз по ступенькам, крепко держась за перила.

* * *

— Не знаю, что к чему, — сказал Том. — Короче, в двух словах, дело было так. Дамы все как с ума посходили. Стоят и сморкаются. Эльмира Браун сидит на полу у последней ступеньки, все кости целы, наверное, из желе сделаны. А ведьма рыдает у нее на плече. Потом все поднимаются в зал и ни с того ни с сего — ха-ха-ха. Вот и пойми их. Я скорее руки в ноги!

Том расстегнул рубашку и стянул галстук.

— Магия, говоришь? — спросил Дуглас.

— Магия, да еще какая!

— И ты в нее веришь?

— Да, верю. И не верю.

— Подумать только, что творится в городе! — Дуглас всмотрелся в горизонт, где облака лепили на небе исполинские изваяния древних богов и героев. — Заклятия, восковые куклы, иглы, эликсиры, говоришь?

— Не столько эликсир, сколько отменное рвотное. Блям! Иии-ааа! — Том схватился за живот и

высунул язык.

— Ведьмы… — промолвил Дуглас. И таинственно прищурился.

XX[19]

И вот настанет день, когда отовсюду слышно, как с веток падают яблоки, одно за другим, то здесь, то там. Потом по три, по четыре, по девять и двадцать, и вот яблоки хлещут, как дождь, стучат, как подковы по мягким темнеющим травам. И ты — на древе последнее яблоко, ждешь, пока ветер медленно расшатает твое гнездо, что на небе, и наземь низринет. И не успеешь удариться оземь, как позабудешь о том, что была когда-то яблоня или яблоки, лето или зелень внизу. И будешь падать и падать во тьму…

— Нет!

Полковник Фрилей спешно открыл глаза, выпрямился в своем кресле-каталке. Выбросил свою холодную руку, чтобы нащупать телефон. Он все еще на месте! И прижал его к груди, моргая.

— Не нравится мне этот сон, — обратился он к своей пустой комнате.

Наконец дрожащими пальцами он поднял трубку, вызвал телефонистку междугородной связи, назвал номер и стал ждать, глядя на дверь,

---

[19] Сноски: 19
Рассказ Р. Брэдбери «Окно» («The Window», Collier’s, Aug 5, 1950).

словно в любое мгновение рой сыновей, дочерей, внуков, сиделок и докторов мог ворваться и отобрать у него последнюю роскошь в жизни, которую он позволял своим угасающим чувствам. Много дней (или лет?) назад, когда его сердце вонзалось в ребра и плоть, как кинжал, он слышал голоса мальчишек внизу… как же их звали? Чарльз, Чарли, Чак, да! И Дуглас! И Том! Он вспомнил! Они выкликали его имя внизу в коридоре, но дверь перед ними оказалась заперта, и мальчики повернули назад. «Вам нельзя волноваться», — говорил врач. Никаких посетителей. Никаких, никаких, никаких. И он услышал, как мальчики переходят улицу. И увидел. Помахал рукой. А они помахали ему в ответ. «Полковник… полковник». И вот он сидит в одиночестве с крохотной серой жабой, именуемой сердцем, которое время от времени еле трепыхается то тут, то там в его груди.

— Полковник Фрилей, — сказала телефонистка. — Ваш заказ: Мехико-Сити, Эриксон 3899.

И вот далекий, но бесконечно чистый голос:

— Bueno.

— Хорхе! — вскричал старик.

— Синьор Фрилей! Опять вы? Это же стоит больших денег!

— Ну и пусть! Ты знаешь, что делать.

— Si. Окно?

— Окно, Хорхе, если тебя не затруднит.

— Минуточку, — произнес голос.

И за тысячи миль, из южных краев, из конторского здания, донесся звук шагов, удаляющихся от телефона. Старик подался вперед, прижимая трубку к сморщенному уху, которое заболело в ожидании новых звуков. Поднятие окна.

— Ах, — вздохнул старик.

Звуки Мехико-Сити знойным желтым полднем в распахнутом окне в ожидающей телефонной трубке. Он представил Хорхе, стоящего с трубкой, простертой наружу, навстречу сияющему дню.

— Синьор…

— Прошу, не надо. Дай послушать.

Он слушал гудки множества железных клаксонов, скрежет тормозов, выкрики уличных торговцев, продающих со своих лотков пурпурно-красные бананы и апельсины. Полковник Фрилей начал перебирать ногами, свешенными с кресла, изображая ходьбу. Он зажмурился. С неимоверной силой втянул воздух в ноздри, как бы пытаясь обонять запахи туш на стальных крюках под солнцем, облепленных мухами, словно оболочкой из изюма, запахи каменных переул-

ков, орошенных утренним дождем. Он ощущал солнечный ожог на щетинистой щеке, и ему снова было двадцать пять. Он ходил, разгуливал, смотрел, улыбался, радовался жизни, ушки на макушке, упиваясь красками и запахами.

Стук в дверь. Он поспешно запрятал телефон под полу халата.

Вошла медсестра.

— Привет, — сказала она. — Хорошо себя ведете?

— Да, — раздался механический голос старика.

Он почти ослеп. Потрясение от обыкновенного стука в дверь так на него подействовало, что его мысли все еще витали далеко, в другом городе. Он дождался, пока его мысли вернутся домой. Это обязательно, для того чтобы он был способен отвечать на вопросы, вести себя разумно и вежливо.

— Вот, пришла измерить ваш пульс.

— Не сейчас! — сказал старик.

— Вы куда-то собрались? — улыбнулась она.

Он пристально посмотрел на медсестру. Целых десять лет он нигде не бывал.

— Вашу руку.

Ее жесткие сноровистые пальцы, словно ножки циркуля, прощупали пульс в поисках изъяна.

— Чем вы так взволнованы? — потребовала она объяснений.

— Ничем.

Ее блуждающий взгляд остановился на пустом телефонном столике. И надо же было так случиться, что как раз в этот момент за две тысячи миль отсюда еле слышно протрубил клаксон.

Она извлекла телефонную трубку из-под халата полковника и поднесла к его лицу.

— Зачем вы творите это с собой? Вы же обещали, что не будете этого делать. Вы только себе вредите, разве нет? Взвинчиваетесь, слишком много говорите. Мальчишки скачут…

— Они сидят себе тихонько и слушают, — сказал полковник. — И я рассказывал им такие вещи, о которых они в жизни не слыхивали. Я рассказывал им о буйволах и бизонах. Это стоило того. И меня это не волновало. Я был окрылен и полон жизни. И не важно, погубит меня полнота жизни или нет. Лучше испытывать мгновенные вспышки вдохновения каждый раз. А теперь верните мне телефон. Раз уж вы не разрешаете мальчикам приходить и вежливо сидеть, то я хотя бы смогу говорить с кем-нибудь во внешнем мире.

— Сожалею, полковник. Придется сообщить об этом вашему внуку. На прошлой неделе я не

позволила ему отобрать у вас телефон. Но теперь, похоже, я дам ему это сделать.

— Это мой дом и мой телефон. Я плачу вам жалованье! — сказал он.

— Чтобы я помогала вашему здоровью, а не вашим треволнениям. — Она прокатила кресло по комнате. — А теперь в постель, молодой человек!

Из постели он взглянул на телефон и не отрывал от него глаз.

— Я выхожу в магазин на пару минут, — сказала сестра. — И чтобы вам не вздумалось снова позвонить, я спрячу кресло в коридоре.

Она выкатила пустое кресло за дверь. Он слышал, как она звонила внизу с параллельного телефона.

— Неужели она звонит в Мехико-Сити? — недоумевал он. — Нет, не посмеет!

Хлопнула входная дверь.

Он вспоминал прошлую неделю, проведенную здесь, в одиночестве, в этой комнате, и тайные, одурманивающие звонки с континента на континент, истоки, целые страны, утопающие в джунглях, плоскогорья голубых орхидей, озера и холмы… разговоры… разговоры… с Буэнос-Айресом… и… Лимой… и с Рио-де-Жанейро…

Он приподнялся в прохладной постели. Завтра с телефоном будет покончено! До чего же алчным глупцом он был! Он выпростал из постели хрупкие ноги слоновой кости, изумляясь, до чего же они иссохли. Они казались штуковинами, прилепленными к его телу как-то ночью, пока он спал, а его молодые ноги у него отняли и сожгли в печи. С годами большую часть его тела свели на нет: лишили рук, плеч, ног, а ему приделали суррогаты, хрупкие и бесполезные, как шахматные фигурки. А теперь они принялись за нечто более неосязаемое — память. Они пытались обрезать провода, уходившие в прошлое.

Он проковылял по комнате. Схватив телефон, он сполз по стене и уселся на пол. Вызвал телефонистку. Его сердце готово было вырваться из груди и забилось быстрее и быстрее, в глазах потемнело.

— Быстрее! Быстрее!

Выждал.

— Bueno?

— Хорхе, нас прервали.

— Синьор, не звоните больше, — произнес далекий голос. — Звонила ваша медсестра. Сказала, что вы очень больны. Я должен повесить трубку.

— Хорхе, нет, прошу тебя, — взмолился ста-

рик. — В последний раз. Послушай меня. Завтра они отберут у меня телефон. Я больше никогда не позвоню.

Хорхе молчал.

Старик продолжал:

— Ради всего святого, Хорхе! Ради нашей дружбы, ради старых добрых дней! Ты не представляешь, что это значит для меня. Ты мой сверстник, но ты можешь ДВИГАТЬСЯ! А я не двигался с места десять лет!

Он выронил трубку и с трудом ее подобрал. Боль сдавила грудь.

— Хорхе, ты еще на линии?

— Это в последний раз? — спросил Хорхе.

— Обещаю!

За тысячу миль трубку положили на стол. Снова со знакомой отчетливостью прозвучали шаги, замерли, и наконец подняли раму.

— Слушай, — прошептал себе старик.

И он услышал тысячу людей под другим солнцем и еле слышный перезвон шарманки, наигрывающей «Маримбу», — ах, какая славная танцевальная мелодия.

Старик смежил веки и поднял руку, словно чтобы сфотографировать старинный собор, и его туловище налилось плотью, помолодело и ощу-

тило под ногами раскаленную мостовую.

Он хотел сказать:

— Вы все еще там, правда? Вы, жители города в час ранней сиесты, когда закрываются магазины и мальчишки-продавцы лотерейных билетов выкрикивают «Lotereia nacional para hoy!»[20]. Даже не верится, что когда-то я бывал среди вас. Когда покидаешь город, он становится вымыслом. Любой город, будь то Нью-Йорк или Чикаго со всеми жителями, на расстоянии становится невероятным. Точно так же, как я невероятен здесь, в Иллинойсе, в городишке у тихого озера. Все мы невероятны друг для друга потому, что мы не вместе. И как приятно слышать звуки и знать, что Мехико-Сити все еще есть и его жители двигаются и живы…

Он сидел, плотно прижав трубку к уху.

Наконец, самый дорогой, самый невероятный звук на свете — звук зеленого трамвая за углом, обремененного загорелыми, диковинными, прекрасными людьми, звуки других людей, бегущих, торжествующе восклицающих, вспрыгивающих на подножку, протискивающихся в вагон и исчезающих за поворотом скрежещущих

---

[20] Сноски: 20

Сегодня розыгрыш национальной лотереи (*исп.*).

рельс, и уносимых в ослепительную солнечную даль, оставляя за собой шипение тортилий на рыночных жаровнях, а может, это всего лишь нарастающий и спадающий гуд и шум помех в двух тысячах миль медных проводов…

Старик сидел на полу.

Время шло.

Внизу медленно отворилась дверь. Легкие шаги вошли в нерешительности, затем стали подниматься по ступенькам. Забормотали голоса:

— Нам сюда нельзя!

— Он звонил мне, говорю же тебе. Ему очень нужны посетители. Мы не можем его бросить.

— Он же болен!

— Конечно! Но он сказал, чтобы мы его навещали, когда медсестры нет. Мы побудем минуточку, поздороваемся и…

Дверь спальни распахнулась. Трое мальчиков стояли и смотрели на старика, сидящего на полу.

— Полковник Фрилей? — тихо сказал Дуглас.

В его безмолвии было нечто, заставившее их замолчать.

Они приблизились, почти на цыпочках.

Дуглас склонился, высвободил телефон из похолодевших пальцев старика. Дуглас прижал трубку к своему уху и прислушался. Сквозь треск

помех он расслышал странный, далекий прощальный звук.

За две тысячи миль захлопнули окно.

* * *

— Бум! — сказал Том. — Бум! Бум! Бум!

Он оседлал пушку времен Гражданской войны на площади перед зданием суда. Стоявший перед орудием Дуглас схватился за сердце и рухнул в траву, но не поднялся, а остался лежать с задумчивым выражением на лице.

— Похоже, ты готов в любой момент достать свой старый карандаш, — сказал Том.

— Дай-ка подумать! — сказал Дуглас, глядя на пушку.

Он перевернулся на спину, разглядывая небо и деревья над головой.

— Том, меня только сейчас осенило.

— Что?

— Вчера умер Чэн Ляньсу. Вчера прямо здесь, в нашем городе, раз и навсегда закончилась Гражданская война. Вчера прямо здесь умерли мистер Линкольн, генерал Ли и генерал Грант, и еще сто тысяч других, сражавшихся за Север и за Юг. Вчера днем в доме полковника Фрилея целое стадо бизонов величиной с Гринтаун, штат

Иллинойс, сорвалось с утеса в тартарары. Вчера навсегда осела огромная туча пыли. А я в тот момент даже не осознал всего этого. Это ужасно, Том, ужасно! Как же мы теперь проживем без этих солдат, генералов Ли и Гранта, без Правдивого Авраама и без Чэн Ляньсу? Мне никогда в голову не приходило, что столько людей могут погибнуть так молниеносно, Том. Но это произошло. И не понарошку!

Том верхом на пушке глядел на неумолкающего брата.

— Блокнот с собой?

Дуглас покачал головой.

— Лучше отправляйся домой и все запиши, пока не забыл. Не каждый день половина населения земли отбрасывает копыта.

Дуглас поднялся и сел, потом встал на ноги. Он медленно зашагал по лужайке перед зданием суда, покусывая нижнюю губу.

— Бум, — тихо сказал Том. — Бум! Бум!

Потом — громче:

— Дуг! Я убил тебя три раза, пока ты шел по лужайке! Дуг, ты слышишь? Эй, Дуг! Ладно. С тебя хватит.

Он лег на ствол пушки и нацелился. Прищурился.

— Бум! — прошептал он растворяющемуся силуэту. — Бум!

XXI

— Готово!

— Двадцать девять!

— Готово!

— Тридцать!

— Готово!

— Тридцать один!

Рычаг опускался. Жестяные крышки, сплющиваясь на жерлах залитых бутылок, искрились сочной желтизной. Дедушка вручил Дугласу последнюю бутылку.

— Второй урожай за лето. Июньский уже расставлен по полкам. А это — июльский. И август не за горами.

Дуглас поднял бутылку теплого вина из одуванчиков, но на полку не поставил. Он заметил другие томящиеся в ожидании пронумерованные бутылки, похожие одна на другую, сияющие, обыкновенные, самодостаточные.

«Вот день, когда я открыл, что живу, — думал он, — а почему бутылка не ярче остальных?»

Вот день, когда Джон Хафф канул в небытие с края света, так почему же бутылка не темнее

остальных?

Где, где, скажите, все летние собачки, прыгающие, как дельфины, в волнах пшеницы, заплетаемых и расплетаемых ветром? Где запах молний от Зеленой машины или трамвая? Запомнило ли их вино? Нет. Во всяком случае, так кажется.

В какой-то книге сказано, что все когда-либо прозвучавшие разговоры, все спетые песни еще живы, ушли в космос, и если бы можно было полететь на Альфу Центавра, то можно было бы услышать говорящего во сне Джорджа Вашингтона, застигнутого врасплох Цезаря с ножом в спине. Со звуками понятно. А со светом? Все, однажды увиденное, не умирает. Такого просто не может быть. Значит, рыская по вселенной, можно набрести на краски и виды нашего мира любой эпохи в несметных сочащихся сотах, где светом служил янтарный сок, хранимый пчелами, сжигающими пыльцу, или в тридцати тысячах линз на голове полуденной стрекозы, усыпанной самоцветами. Или капнуть вина из одуванчиков под микроскоп, и, может, целый мир праздничных фейерверков выплеснется везувием огня. В это ему придется поверить.

И все же… вглядываясь в эту бутылку, номер

которой напоминал о дне, когда полковник Фрилей оступился и оказался на глубине шести футов в сырой земле, Дуглас никак не мог найти ни грамма темного осадка, ни единой пылинки, измолотой буйволами в муку, ни хлопьев серы из пушек при Шайло…

— Впереди август, — сказал Дуглас. — Кто бы сомневался. Но если дела и дальше так пойдут, не останется ни машин, ни друзей, ни одуванчиков последнего урожая.

— Скорбь. Скорбь. Скорбь. Ты уподобился бою похоронного колокола, — сказал дедушка. — Такие разглагольствования хуже ругани. Я не стану, однако, полоскать тебе рот мыльной водой. А предписываю тебе принять один наперсток вина из одуванчиков. На-ка, опрокинь сей же час. Ну, и как на вкус?

— Я — огнеглотатель! Вуууу!

— А теперь марш наверх, трижды обежишь квартал, сделаешь пяток кувырков, шесть раз отожмешься, залезешь на пару деревьев и превратишься из главного плакальщика в первую скрипку. Пошел!

На бегу Дуглас подумал: «Хватит с меня и четырех отжиманий, одного дерева и двух кувырков!»

XXII[21]

В полдень первого августовского дня, садясь в свой автомобиль, Билл Форестер объявил во всеуслышание, что едет в центр города за внеочередной порцией мороженого, на случай, если кто-то захочет составить ему компанию. И вот не прошло и пяти минут, как стряхнувший с себя мрачное настроение Дуглас шагнул с раскаленной мостовой в грот, насыщенный воздухом крем-соды и ванильной свежести, и вместе с Биллом Форестером устроился у фонтанчика из белоснежного мрамора. После чего они попросили зачитать им список самых диковинных видов мороженого, и стоило мороженщику произнести:

— Старое доброе ванильное мороженое с лаймом…

Билл Форестер подхватил:

— Именно!

— В точку! — воскликнул Дуглас.

Дожидаясь заказа, они сделали неторопливый

---

[21] Сноски: 21

Рассказ Р. Брэдбери «Лебедушка» («The Swan», «Cosmopolitan», September 1954).

оборот на вращающихся табуретах. Перед их взором проплыли серебряные краники, сияющие зеркала, приглушенные опахала потолочных вентиляторов, зеленые тени над оконцами, спинки стульев в виде струн арфы. Они перестали крутиться. Их взгляд упал на лицо и фигурку мисс Элен Лумис девяноста пяти лет от роду, которая сидела с ложечкой мороженого в руке и с мороженым во рту.

— Молодой человек, — обратилась она к Биллу Форестеру, — вы человек со вкусом и воображением. И силы воли у вас хватит на десятерых мужчин, иначе вы не решились бы отвернуться от обычных ароматов, поименованных в меню, без отговорок и возражений, и, не задумываясь, заказать такое неслыханное лакомство, как ванильное мороженое с лаймом.

Он отвесил ей церемонный поклон.

— Присоединяйтесь ко мне, — предложила она. — Потолкуем о чудном мороженом и прочих милых нашему сердцу вещах. Не извольте беспокоиться, я плачу по счету.

Улыбаясь, они пересели за ее столик, прихватив с собой свои блюдечки.

— Ты похож на отпрыска семейства Сполдинг, — сказала она мальчику. — Твоя голова

по форме напоминает дедушкину. А вы Уильям Форестер и ведете весьма приличную колонку в «Кроникл». Я слышала о вас больше, чем решусь сказать вслух.

— Я знаю вас, — сказал Билл Форестер. — Вы Элен Лумис. — Он немного замялся и добавил: — Когда-то я был в вас влюблен.

— Вот это, я понимаю, начало для разговора. — Она, помолчав, ковырнула свое мороженое. — Залог следующей встречи. Нет… не рассказывайте мне, где, или когда, или как вы были в меня влюблены. Это мы отложим на потом. Ваши слова перебили мой аппетит. Послушайте! Мне и так пора домой. Поскольку вы репортер, приходите завтра чаевничать между тремя и четырьмя. Пожалуй, я смогу рассказать вам историю нашего города с тех самых времен, когда здесь появилась фактория. И чтобы чем-то занять наше любопытство, мистер Форестер, не забудьте спросить меня о джентльмене, с которым я была близка семьдесят, да, семьдесят лет назад.

Они сидела напротив, и им казалось, с ними говорит седая растерянная дрожащая моль. Ее голос исходил из недр седины и старины, обернутой в пыльцу прессованных цветов и древних бабочек.

— Ну как, — она поднялась, — придете завтра?

— Обязательно приду, — заверил ее Билл Форестер.

И она удалилась в город по своим делам, а маленький мальчик и молодой человек смотрели ей вслед, задумчиво доедая свое мороженое.

Следующее утро Уильям Форестер провел за изучением местных новостей для газеты, после обеда нашел время для рыбалки на реке за городом, поймал несколько рыбешек и отпустил их со спокойной совестью. Не задумываясь или, во всяком случае, не замечая, что задумывается, он в три часа обнаружил, что машина везет его по нужной улице. Он не без любопытства наблюдал, как его руки крутят руль и ведут автомобиль по широкой круговой подъездной дороге, на которой он остановился и припарковался у поросшего плющом входа. Выйдя наружу, он не мог отделаться от мысли, что посреди необъятного зеленого сада, подле свежевыкрашенного трехэтажного викторианского особняка его автомобиль смахивает на старую, затрапезную, изжеванную курительную трубку. В дальнем углу сада он краем глаза уловил призрачное движение, услышал шелестящий возглас и увидел сидящую в одиночестве, ожидающую его мисс

Лумис, вне времени и пространства, у матово мерцающего серебряного чайного сервиза.

— Впервые в жизни не я жду, а женщина, — сказал он, подходя к ней. — И впервые в жизни я не опоздал на свидание.

— Почему? — поинтересовалась она, откинувшись на спинку плетеного кресла.

— Понятия не имею, — признался он.

— Что ж. — Она начала разливать чай. — Для начала скажите, что вы думаете о нашем мире?

— Я ничего не знаю.

— Вот с чего начинается мудрость, как говорится. Когда тебе семнадцать, ты знаешь все. Когда тебе двадцать семь и ты все еще думаешь, что знаешь все, значит, тебе все еще семнадцать.

— Кажется, вы многое познали за эти годы.

— Казаться всезнающими — привилегия старых людей. Но это такое же притворство и актерство, как и все другое. Между нами говоря, мы, старики, перемигиваемся и улыбаемся, как бы говоря друг другу: «Ну, как тебе нравится моя маска, моя игра, моя достоверность? Разве жизнь не пьеса? Разве я плохо играю?»

Они тихо рассмеялись. Он откинулся на спинку стула, и впервые за многие месяцы смех непринужденно слетал с его уст. Когда они отсмеялись,

она взяла свою чашку двумя руками и заглянула в нее.

— Вы знаете, а ведь нам повезло, что мы встретились так поздно. Мне бы не хотелось, чтобы вы встретили меня двадцатиоднолетней и без царя в голове.

— Для хорошеньких девушек двадцати одного года есть особые правила.

— Вы полагаете, я была хорошенькой?

Он добродушно кивнул.

— Но откуда вам знать? — спросила она. — Когда встречаете дракона, пожравшего лебедя, вы что, судите по пуху и перьям, приставшим к его пасти? Такое тело и есть дракон, сплошь чешуя да складки. Итак, дракон слопал белую лебедушку. Я не видела ее целую вечность. Я даже не помню, как она выглядит. Однако я ее ощущаю. Она там, внутри, цела и невредима. Лебяжья сущность не лишилась ни единого перышка. Знаете, иногда весенним или осенним утром я просыпаюсь и думаю: ах, побежать бы по полям в рощу и набрать лесной земляники! Или же плаваю в озере, или танцую всю ночь напролет до рассвета! А затем, злющая как черт, обнаруживаю, что я — старый дряхлый дракон. Я принцесса, запертая в разрушенной башне, дожидаюсь принца на белом

коне.

— Вам бы книги писать.

— Милый мальчик, я и писала. Чем еще заниматься старой деве? До тридцати я была сумасбродкой с головой, набитой карнавальной мишурой. Затем единственному мужчине, который был мне небезразличен, надоело ждать, и он женился на другой. В наказание и назло себе я решила, что заслуживаю такой судьбы, раз не вышла замуж, когда представилась бесподобная возможность. Я начала путешествовать. Мой багаж был испещрен наклейками. Я была одна в Париже, одна в Вене, одна в Лондоне, и в целом это не отличалось от одиночества в Гринтауне, штат Иллинойс. В сущности, это и есть быть одинокой. О, всегда есть время поразмыслить, улучшить манеры, отточить свою речь. Но иногда я думаю, что с легкостью пренебрегла бы какой-нибудь глагольной формой или реверансом, лишь бы устроить себе тридцатилетние каникулы в чьем-нибудь обществе.

Они пригубили свой чай.

— Ах, какой прилив самобичевания, — сказала она добродушно. — Ну а теперь поговорим о вас. Вам тридцать один, и вы все еще холосты?

— Скажем так, — предложил он, — редко встре-

тишь женщин, действующих, думающих и говорящих подобно вам.

— Боже, — сказала она серьезно. — Вам не следует ожидать, что молодые женщины заговорят, как я. Это приходит с возрастом. Во-первых, они слишком юны. Во-вторых, среднестатистический мужчина приходит в замешательство, обнаружив у женщины некое подобие мозгов. Вероятно, вам попадалось немало мозговитых дам, которым успешно удавалось это от вас скрыть. Придется вам как следует копнуть, чтобы отыскать редкую гусеницу. Придется повыворачивать доски.

Они снова рассмеялись.

— Видно, мне следует стать дотошным старым холостяком, — сказал он.

— Нет, нет, вам не нужно этого делать. Это было бы неправильно. Вам даже нельзя находиться здесь в это время суток. Эта улица ведет только к египетской пирамиде. С пирамидами все в порядке, но мумии — неподходящая компания. Где бы вы хотели побывать, как бы вы хотели распорядиться своей жизнью?

— Хотел бы увидеть Стамбул, Порт-Саид, Найроби, Будапешт. Написать книгу. Выкурить кучу сигарет. Свалиться с утеса и застрять в кроне дерева на полпути. Быть подстреленным пару

раз в темном переулке марокканской ночью. Полюбить красивую женщину.

— Вряд ли я способна дать вам все это, — сказала она, — но я много путешествовала и могла бы рассказать вам о большинстве из этих мест. И если у вас будет охота пробежать по моей лужайке в одиннадцать вечера, а я еще не буду спать, то могу пальнуть по вам из мушкета времен Гражданской войны. Утолит ли это вашу мужскую жажду приключений?

— Это было бы просто восхитительно.

— Куда бы вы хотели отправиться для начала? Я, знаете ли, могу перенести вас туда. Я могу создать настроение. Только скажите. Лондон? Каир? В Каире лицо начинает светиться. Так что махнем в Каир. А теперь расслабьтесь. Заправьте трубку этим душистым табаком и откиньтесь на спинку кресла.

Он так и сделал, раскурил трубку с полуулыбкой, расслабился и обратился в слух, а она начала повествование.

— Каир… — промолвила она.

* * *

Час пролетел в алмазах, улочках и ветрах египетской пустыни. Солнце позолотилось, Нил

нес свои мутные воды в дельту, и некая очень молоденькая и прыткая особа вскарабкалась на вершину пирамиды; она смеялась и призывала его подняться к солнцу по теневой грани. И он карабкался, а она протягивала руку, помогая ему подниматься. Затем они смеялись, сидя верхом на верблюде, устремляясь к великому продолговатому тулову Сфинкса, а поздней ночью в туземном квартале молоточки тренькали по бронзе и серебру и затухали мелодии каких-то струнных инструментов…

* * *

Уильям Форестер открыл глаза. Мисс Элен Лумис завершила свое приключение, и они снова оказались дома, очень знакомые и близкие. В саду. Чай в серебряном чайнике остыл. Бисквиты высохли на предвечернем солнце. Он вздохнул, потянулся и снова вздохнул.

— Ни разу в жизни мне не было так уютно.

— И мне.

— Я задерживаю вас. Мне следовало уйти еще час назад.

— Знаете, мне полюбилась каждая минута, но что вы нашли в старой глупой женщине…

Он откинулся на спинку стула, полузакрыв

глаза, и посмотрел на нее. Он сощурился, чтобы глаза пропускали лишь тончайший лучик света. Он слегка склонял голову то на один бок, то на другой.

— Что вы делаете? — забеспокоилась она.

Он не ответил, продолжая всматриваться.

— Если правильно рассчитать, — пробормотал он, — можно подкорректировать, подправить…

А про себя подумал: «Можно стереть морщины, подправить время, повернуть годы вспять».

Вдруг он вытаращился на нее.

— Что такое? — спросила она.

Но все исчезло. Он открыл глаза, чтобы ухватиться. Это было ошибкой. Нужно было оставаться на месте, в расслабленном состоянии с прикрытыми веками.

— На какое-то мгновение, — сказал он, — я увидел.

— Что увидели?

«Лебедушку, конечно», — подумал он.

Должно быть, он произнес это слово одними лишь губами.

В следующую секунду она, нарочито выпрямившись, сидела в своем кресле. Ее руки неподвижно легли на колени. Ее взор нацелился на него, а он беспомощно смотрел, как переполняются

ее глаза.

— Я прошу прощения, — сказал он. — Извините меня.

— Не нужно. В этом нет необходимости.

Она держалась твердо, не прикасаясь ни к лицу, ни к глазам. Ее руки упорно оставались скрещенными на коленях.

— Вам лучше сейчас уйти. Да, вы можете зайти завтра, но сейчас, прошу вас, уходите, и ничего не надо больше говорить.

Он вышел через сад, оставив ее за столом, в тени. Оглянуться он не решился.

* * *

Минуло четыре, восемь, двенадцать дней, и его приглашали на чай, на ужин, на обед. Долгие зеленые полуденные часы они проводили за беседами об искусстве, литературе, жизни, обществе, политике. Они поглощали мороженое и голубятину, пили доброе вино.

— Мне безразлично, кто что болтает, — сказала она. — А ведь они болтают, правда?

Он заерзал.

— Так я и знала. Женщину никогда не оставят в покое, даже в девяносто пять, и будут донимать сплетнями.

— Я могу больше не приходить.

— О, ни в коем случае! — вскричала она, а после потише добавила: — Вы же знаете, что не способны на это. Вам же все равно, что о вас подумают, правда? До тех пор, пока все в рамках?

— Мне все равно, — сказал он.

— Так, теперь, — она откинулась на спинку кресла, — поиграем в нашу игру. Куда отправимся на сей раз? В Париж? Пожалуй, в Париж.

— В Париж, — ответил тихо он, кивая.

— Итак, — начала она, — год тысяча восемьсот восемьдесят пятый, и мы садимся на пароход в Нью-Йоркской бухте. С нами багаж, билеты; силуэт города пропадает за горизонтом. Мы в открытом море. Прибываем в Марсель…

Вот с моста она смотрит на прозрачные воды Сены, а вот спустя миг рядом с ней внезапно появляется он. Смотрит вниз на уплывающее мимо лето. Вот она с рюмкой аперитива в руках белых, как тальк, а вот и он с поразительной быстротой склоняется к ней, чтобы чокнуться бокалами. Его лицо появлялось в зеркальных залах Версаля, над дымящимися «шведскими» столами в Стокгольме, именуемыми Smörgåsbord, и они вместе считали шесты, выкрашенные по спирали в красный и белый цвета, которые служили вывесками

цирюльников в Венеции. То, что она делала в одиночку, теперь они делали вместе.

* * *

Однажды в середине августа под вечер они сидели и глядели друг на друга.

— Вам, наверное, невдомек, — сказал он, — что вот уже без малого три недели я вижусь с вами почти каждый день.

— Быть такого не может!

— И я получил от этого массу удовольствия.

— Ладно, но ведь вокруг столько молоденьких девушек…

— Вы воплощаете все, чего они лишены, — доброту, проницательность, остроумие.

— Вздор! Доброта и проницательность — достояние старости. Бессердечие и бездумность в двадцать лет будоражат гораздо больше. — Она помолчала и вздохнула. — А сейчас я поставлю вас в неловкое положение. Помните, в тот первый день в кафе вы сказали, что испытывали ко мне некоторую, скажем так, привязанность? Вы намеренно смущаете меня, так и не заговорив об этом со мной.

Он не находил слов.

— Это неудобно, — запротестовал он.

— Выкладывайте начистоту!

— Много лет назад я видел ваше фото.

— Я не разрешаю себя фотографировать.

— Это давнишнее фото, на котором вам двадцать лет.

— А, это. Весьма забавно. Каждый раз, когда я жертвую на благотворительность или прихожу на бал, они стряхивают пыль с этого фото и печатают. Весь город смеется, даже я.

— Со стороны газеты это бесчеловечно.

— Нет. Это я им сказала: «Если хотите мое фото, используйте то, что было снято в тысяча восемьсот пятьдесят третьем году». Пусть меня запомнят такой. И ради всего святого, во время отпевания не снимайте крышку.

— Я все вам расскажу.

Он сложил руки, посмотрел на них, потом задумался на мгновение, вспоминая фотографию, и она отчетливо всплыла в его памяти. Здесь, в саду, хватало времени обстоятельно подумать и о фотографии, и о юной красавице Элен Лумис, впервые в одиночку позирующей перед камерой. Он вспоминал ее, спокойную, с застенчивой улыбкой на лице.

У нее был лик весны, лета, источавшего теплый клеверный аромат. Ее уста горели гранатом, а в

глазах стояло полуденное небо. Прикосновение к ее лицу всегда было открытием — как распахнутое окно ранним декабрьским утром, как ладонь, протянутая навстречу первой белой прохладной снежной пороше, выпавшей ночью, безмолвно, внезапно, без предупреждения. Все целиком — тепло дыхания и сливовая нежность — были схвачены навсегда химическим чудом фотографии, и никакие ветра времен не в силах сдуть с этого образа ни единого часа, ни единой секунды. Сей первый чистый хладный белый снег никогда не растает, а переживет не одно лето, а тысячу.

Вот что представляло собой это фото. Так он познакомился с ней. Теперь, когда он вспомнил, обдумал и вызвал из памяти фотокарточку, он вновь обрел дар речи.

— Когда я впервые увидел эту фотографию — простое, обычное изображение с незамысловатой прической, — я не догадывался, что она сделана так давно. В газете говорилось об Элен Лумис — распорядительнице городского бала в тот вечер. Я вырезал фото из газеты. Я проносил его с собой весь день. Мне захотелось пойти на бал. Потом под вечер кто-то заметил, как я разглядываю эту фотографию, и поведал мне, что фотография красавицы была сделана давным-давно и с тех

пор каждый год используется газетой. Мне втолковали, что мне не следует идти на городской бал и разыскивать вас по этому фото.

Они сидели в саду, минута тянулась долго. Он посмотрел на ее лицо. Она разглядывала дальнюю садовую ограду и кремовые розы, которые ползли по ней вверх. О чем она думает, невозможно было догадаться. На ее лице ничего не отражалось. Она покачалась немного в своем кресле и ласково сказала:

— Еще чаю? Пожалуйста.

Они пригубили чай. Потом она дотянулась и похлопала его по плечу.

— Спасибо вам.

— За что?

— За то, что захотели разыскать меня на танцах, за то, что вырезали мое фото, за все. Большое вам спасибо.

Они прогуливались по тропинкам парка.

— А теперь, — сказала она, — мой черед. Помните, я упоминала некоего молодого человека, который некогда, семьдесят лет тому назад, ухаживал за мной? О, его уж лет пятьдесят как нет на свете, но в молодости он был хорош собой, сутками мчался на лихом коне, скакал летними ночами по лугам вокруг города. У него было

пышущее здоровьем, дерзкое лицо, обожженное солнцем, руки вечно исцарапаны, и дымил он, как печная труба, а расхаживал так, словно вот-вот разлетится на куски. Не задерживался ни на одной работе, бросал ее, когда ему взбредало в голову, и в один прекрасный день он «ускакал» от меня, потому что я оказалась еще взбалмошнее, чем он, и ни за что не соглашалась остепениться. Вот, собственно, и все. Я и помыслить не могла, что настанет день, когда я снова увижу его живым. Но вы вполне живы-здоровы, разбрасываете пепел, в точности как он, вы одновременно неуклюжи и изящны. Я знаю наперед, как вы поступите, но потом я всегда бываю озадачена. Перевоплощение, по-моему, порядочная ерунда, но недавно я подумала: а что, если я окликну вас на улице «Роберт, Роберт», обернется ли на этот зов Уильям Форестер?

— Не знаю, — сказал он.

— Я тоже. Что и делает жизнь захватывающей.

* * *

Август почти на исходе. Первое холодноватое прикосновение осени прокралось по городу, и по каждому дереву постепенно пробежала первая сжигающая лихорадка цвета, холмы слегка поме-

няли окраску, пшеничные поля обрели львиный оттенок. Рисунок дней стал узнаваемым и повторяющимся, как если бы каллиграф непрерывно, день за днем выводил бесконечную вереницу изящных буковок «L», «W», «M».

Однажды августовским полднем Уильям Форестер пересек сад и обнаружил Элен Лумис, которая писала что-то с превеликим усердием за чайным столиком.

Она отложила перо и чернила.

— Я пишу вам письмо, — сказала она.

— Что ж, мое присутствие освобождает вас от беспокойства.

— О, нет, это письмо особенное. Взгляните-ка.

Она показала ему уже запечатанный и разглаженный конверт.

— Запомните, как он выглядит. Если вы получите его в своей почте, значит, я умерла.

— Это не разговор.

— Садитесь и выслушайте меня.

Он повиновался.

— Мой милый Уильям, — сказала она, сидя в тени солнцезащитного зонта. — Через несколько дней меня не станет. Нет. — Она подняла руку. — Я не хочу, чтобы вы меня перебивали. Я не боюсь. Когда живешь так долго, как я, это тоже теряет-

ся. Мне никогда не нравились омары, главным образом потому, что я их не пробовала. На мое восьмидесятилетие я ими угостилась. И не могу сказать, что я от них в восторге, зато у меня нет сомнений насчет того, какие они на вкус. Осмелюсь сказать, смерть — тот же омар, и я смогу с ней свыкнуться.

Она сделала движение руками.

— Но хватит об этом. Главное, что я больше вас не увижу. Никаких церемоний не будет. Я считаю, что женщина, ушедшая через известную дверь, имеет столько же прав на личную жизнь, что и женщина, отправившаяся почивать на ночь.

— Разве можно предсказать смерть? — проговорил он наконец.

— Сорок лет я слежу за напольными часами в коридоре, Уильям. Достаточно их завести, и я могу предсказать, когда они остановятся. То же и старики, никакой разницы. Они чувствуют, как замедляется механизм, опускаются гири. Только, прошу, не смотрите так… пожалуйста.

— Ничего не могу с собой поделать, — сказал он.

— Мы ведь замечательно проводим вместе время. Ведем каждый день беседы, все очень изысканно. Есть такая избитая, истертая фра-

за — «сродство душ». — Она повертела в руках голубой конверт. — Я всегда знала, что качество любви определяет душа, хотя тело временами открещивается от этого знания. Тело живет само по себе, ему лишь бы насытиться и дождаться ночи. В нем, в сущности, заложено ночное начало. А душа рождена от солнца, Уильям, и ей суждено провести тысячи часов жизни в бдении и бодрствовании. Можно ли найти равновесие между телом, этим жалким, эгоистичным созданием, порождением ночи, и целой жизнью, преисполненной солнцем и разумом? Я не знаю. Я знаю только, что есть ваша душа и моя, и я не припомню таких дней в моей жизни. Еще столько всего нужно обговорить, но давайте прибережем это до следующего раза.

— Кажется, у нас не так уж много времени.

— Нет, но, возможно, у нас найдется еще время. Время — такая странная штука, а жизнь и подавно. Теряются шестеренки, колесики проворачиваются, жизни людей переплетаются то слишком рано, то поздно. Я-то зажилась на свете, уж это точно. А вы родились либо слишком рано, либо слишком поздно. Какой ужасный разнобой во времени. Но я, возможно, наказана за то, что была дрянной девчонкой. Так или иначе, на сле-

дующем витке колесики должны снова встать на свое место. А тем временем вам следует найти подходящую девушку, жениться и быть счастливым. Но вы должны мне кое-что пообещать.

— Что угодно.

— Пообещайте не доживать до слишком почтенного возраста, Уильям. Если вам будет удобно, умрите до пятидесяти. Возможно, для этого понадобится приложить некоторые усилия. Но я советую вам это просто потому, что неизвестно, когда народится новая Хелен Лумис. Представьте, как будет ужасно, если вы доживете до очень преклонных годов и однажды в полдень, в тысяча девятьсот девяносто девятом году, прогуливаясь по Главной улице, встретите меня в возрасте двадцати одного года; и что же, все опять перевернется вверх дном? Я сомневаюсь, чтобы наши полуденные посиделки повторились, какими бы приятными они ни были, а вы? Тысяча галлонов чая, пятьсот бисквитов хватит на одну дружбу. Так что как-нибудь лет через двадцать у вас должен случиться приступ пневмонии, ибо я не знаю, сколько лет вам будет дано жить в противном случае. Может, они вас немедленно отошлют обратно. Но я сделаю все от меня зависящее, Уильям. И все встанет на свои места и

уравновесится. Знаете, как может случиться?

— Расскажите.

— Как-нибудь днем, в тысяча девятьсот восемьдесят пятом или в тысяча девятьсот девяностом, молодой человек по имени Том Смит, или Джон Грин, или что-то в этом роде, будет прогуливаться по городу и зайдет в кафе, чтобы заказать какое-нибудь диковинное мороженое. Там будет сидеть молодая девушка того же возраста; она услышит название этого мороженого, и что-то да произойдет. Я не могу сказать, что и как. Она наверняка не будет знать, что именно. Как, впрочем, и молодой человек. Просто название мороженого придется очень по душе им обоим. Они разговорятся. А потом, когда они познакомятся, то выйдут из кафе уже вместе.

Она улыбнулась ему.

— Все это очень здорово, вы уж простите пожилую даму за ее склонность все упаковывать в изящные свертки. Это глупый пустячок, который я оставляю вам. Теперь поговорим о чем-нибудь другом. О чем же? Остался ли в мире уголок, в котором мы бы с вами не побывали? Мы ездили в Стокгольм?

— Да, замечательный город.

— Глазго? Да? Тогда куда же?

— А почему бы не в Гринтаун, штат Иллинойс? — предложил он. — Да, он самый. Мы с вами так и не почтили посещением наш город.

Она откинулась на спинку кресла, как и он, и молвила:

— Я расскажу вам, как здесь жилось, когда мне было девятнадцать, в стародавние времена…

Зимний вечер; она плавно скользит на коньках по лунно-белому льду пруда и видит под собой свое шуршащее отражение. Летний вечер в городе огней, мелькающих в воздухе, на щеках и в сердце; в глазах светятся и затухают светлячки. Шелест октябрьской ночи. Она перекручивает сладкую тянучку на кухонном крюке и поет. А вот она весенним вечером бежит по мху вдоль речки, плавает в мягких теплых и глубоких водах гранитного карьера за городом. А вот Четвертое июля, и ракеты бьют по небу, и на каждой веранде лица отсвечивают то красным, то синим, то белым, ее лицо озарено вспышкой последней угасающей ракеты.

— Вы представили себе все это? — спросила Хелен Лумис. — Вы видите меня за всеми этими занятиями, со всеми этими людьми?

— Да, — сказал Уильям Форестер, смежив веки. — Вижу.

— А потом, — сказала она, — а потом…

Ее голос плыл и плыл навстречу вечеру в быстро сгущающихся сумерках, но ее голос раздавался в саду, и каждый прохожий на дороге мог издалека расслышать это едва-едва различимое трепыхание мотылька…

* * *

Спустя два дня, когда пришло письмо, Уильям Форестер сидел за столом в своем кабинете. Дуглас принес его наверх, вручил Биллу и посмотрел так, словно знал его содержание.

Уильям Форестер узнал голубой конверт, но вскрывать не стал. Он просто положил его в карман рубашки, задержал взгляд на мальчугане и сказал:

— Пойдем, Дуг. Я угощаю.

Они направились в центр, перебрасываясь скупыми фразами; Дуглас чувствовал, что нужно хранить молчание. Угрожающе замаячившая было осень отступила. Лето вернулось в полную силу, заставив клубиться облака и полируя металл небес. Они зашли в кафе-мороженое и сели подле мраморного фонтанчика. Уильям Форестер достал письмо, положил перед собой, но распечатывать опять не стал.

Он взглянул на желтый солнечный свет, падающий на бетонную мостовую и зеленый навес, на сияние золотых букв в витринах напротив, а потом посмотрел на настенный календарь: двадцать седьмое августа тысяча девятьсот двадцать восьмого года. Посмотрел на наручные часы и почувствовал, как сердце забилось медленнее, увидел, что секундная стрелка еле-еле тащится, календарь застрял на одном дне, диск солнца, прибитый к небосводу, ни в какую не хочет закатываться. Теплый воздух распространялся под вздохи лопастей вентилятора над головой. У открытой двери рассмеялись женщины и вышли из поля его зрения, которое сосредоточилось поверх их голов, на самом городе и на часах высокого здания суда. Он взрезал конверт и начал читать.

Он медленно крутился на поворотном стуле. Он снова и снова беззвучно взвешивал слова на кончике языка и наконец произнес их вслух, дважды.

— Порцию ванильного мороженого с лаймом, — сказал он. — Порцию ванильного с лаймом.

XXIII

Дуглас, Том и Чарли шагали по улице, тяжело дыша на солнцепеке.

— Том, скажи мне, только честно.

— Что тебе честно сказать?

— Куда девались хеппи-энды?

— Их приберегли для субботних утренников.

— Ясное дело. Ну а в жизни бывает так, что все заканчивается хорошо?

— Не знаю, кому как, а мне хорошо, когда я ложусь вечером спать, Дуг. Вот тебе и счастливая развязка на каждый день. На следующее утро я встану, и что-нибудь возьмет и не заладится. Но мне нужно только помнить, что вечером я пойду спать, и уже просто от того, что я лежу в постели, мне становится хорошо.

— Я тебе толкую про мистера Форестера и старенькую мисс Лумис.

— Ничего не поделаешь. Она умерла.

— Знаю! Но разве ты не понимаешь, что там кто-то просчитался?

— Ты хочешь сказать, он думал, ей столько же лет, сколько на фотке, а ей на триллион лет

больше? Нет, я думаю, это здорово!

— Здорово? С чего бы?

— Последние дни мистер Форестер рассказывал мне понемногу о том о сем, и я наконец сложил все вместе… и как же я заревел! Я даже не знаю почему. Я бы ни на столечко ничего не изменил. Если изменишь, о чем же тогда разговаривать? Не о чем! К тому же я люблю поплакать. Выплачешься как следует, и будто снова настало утро, и день начинается с чистого листа.

— С тобой все ясно.

— Ты просто не хочешь признаваться, что тоже не прочь поплакать. Ты плачешь, пока все не уладится. Это и есть твой хеппи-энд. И ты снова готов вернуться и водиться с другими. И это начало бог знает чего! В любой момент мистер Форестер все обдумает и увидит, что это единственный выход, наплачется вволю, а потом оглянется вокруг и узреет, что опять наступило утро, даже если пять часов вечера.

— По мне, так никакой это не хеппи-энд.

— Сладкий сон, десятиминутный рев или пинта шоколадного мороженого, либо все вместе взятое — хорошее лекарство, Дуг. Послушай, что тебе говорит Том Сполдинг, доктор медицины.

— Да замолчите вы, наконец! — вскричал Чар-

ли. — Мы почти на месте!

Они свернули за угол.

Дремучей зимой они рыскали в поисках осколков лета и находили их в погребах или в кострищах по краям замерзших катков вечерами. Теперь же, летом, они вышли на поиски хоть каких-то следов преданной забвенью зимы.

За углом они ощутили, как непрерывный легкий дождичек брызжет с огромного кирпичного сооружения и освежает их, пока они читали указующую им на предмет их поисков вывеску, которую и так знали наизусть:

ЛЕТНЯЯ РЕЗИДЕНЦИЯ ЗИМЫ

Летняя резиденция зимы в летний день! Они проговаривали эти слова и смеялись, а потом направились всматриваться в грандиозную пещеру, где в парах аммиака и хрустальных подтеках почивали пятидесяти-, сто-, двухсотфунтовые глыбы, ледники, айсберги и выпавший, но не позабытый январский снег.

— Чуете, — вздохнул Чарли Вудмен. — Чего же еще желать?

Ибо зима снова и снова извергала на них свое дыхание, а они стояли посреди ослепительного дня, вдыхая запах влажного деревянного помоста,

и вечная радужная мгла оседала из холодильных машин над головой.

Они грызли сосульки, от которых стыли пальцы и которые и приходилось заворачивать в носовые платки и обсасывать материю.

— Ух ты, какой пар да туман! — шептал Том. — Снежная королева. Помнишь сказку? Никто сейчас не верит в снежных королев и все такое прочее. Так что я не удивлюсь, если она пришла сюда прятаться, раз никто больше не верит в ее существование.

Они смотрели, как пары поднимаются и уплывают длинными хвостами прохладного дымка.

— Нет, — сказал Чарли. — Знаете, кто тут обитает? Всего лишь одно существо. Стоит только о нем подумать, как у вас сразу мурашки по телу. — Чарли понизил голос. — Неприкаянный.

— Неприкаянный?

— Здесь родился, вырос и *проживает*! Всю зиму напролет, Том, в этом холоде, Дуг! Откуда же еще он может быть родом, если в самую жаркую ночь в году от него мороз по коже? Чуете его запах? Чуете, конечно. Неприкаянный… Неприкаянный…

Пары и мгла клубились в темноте. Том вскрикнул.

— Дуг, все в порядке, — оскалился Чарли. —

Просто я бросил Тому за шиворот кусочек льда. Только и всего.

XXIV[22]

Часы на здании суда пробили семь раз. Затухли отголоски колокольного звона.

Теплые летние сумерки в глубинке, в краю Верхнего Иллинойса, в маленьком городке, отгороженном от всего на свете рекой и лесом, лугами и озером. Тротуары все еще обжигают. Магазины закрываются, и на улицы ложатся тени. Лун оказывается две: луна башенных часов имеет четыре лика, смотрящих в четыре стороны ночи над мрачноватым черным зданием суда, и настоящая луна, восходящая в ванильной белизне с темного востока.

В кафе-мороженом под высокими потолками шепчутся лопасти вентиляторов. В тени портиков в стиле рококо сидят невидимые посетители. Временами вспыхивают красные огоньки сигар. Скрипят пружинами и хлопают противомоскитные двери. По летним вечерним улицам, выложенным лиловым кирпичом, бежал Дуглас Сполдинг, а за ним — собаки и мальчишки.

---

[22] Сноски: 22

Рассказ Р. Брэдбери «Весь город спит» («The Whole Town's Sleeping», «McCall's», September 1950).

— Здравствуйте, мисс Лавиния!

Мальчики вприпрыжку ускакали прочь. Молча помахав им вслед, Лавиния Неббс сидела в одиночестве с высоким прохладным стаканом лимонада в белых пальцах, поднося его к губам и отпивая понемногу, в ожидании.

— А вот и я, Лавиния.

Она обернулась. У нижней ступеньки веранды, среди аромата цинний и китайской розы стояла Франсин в белоснежном облачении.

Лавиния Неббс заперла дверь и, оставив недопитый стакан на веранде, сказала:

— Отличный вечерок для похода в кино.

Они зашагали по улице.

— Куда вы собрались, девочки? — окликнули их мисс Ферн и мисс Роберта со своей веранды.

Лавиния ответила им сквозь ватный океан темноты:

— В кинотеатр «Элит», на ЧАРЛИ ЧАПЛИНА!

— Ни за что не выманите нас в такую ночь на улицу, — возопила мисс Ферн, — когда Неприкаянный женщин душит. Лучше запремся с дробовиком в кладовке.

— Вздор!

Лавиния услышала, как дверь у старушек захлопнулась на замок, и поплыла дальше, осязая

теплое дыхание летнего вечера, поднимающееся с раскаленных, как печь, тротуаров. Казалось, ступаешь по корочке свежеразогретого хлеба. Тепло волнообразно колыхало подол платья, пробегая по ногам, и нельзя сказать, что это вороватое вторжение было неприятным.

— Лавиния, ведь ты не веришь в то, что рассказывают про Неприкаянного?

— Этим теткам лишь бы языками почесать.

— Все равно, Хэтти Макдоллис убили два месяца тому назад, Роберту Ферри за месяц до этого, а теперь исчезла Элизабет Рамзелл…

— Хэтти Макдоллис — глупая девчонка, наверняка убежала с каким-нибудь бродягой.

— Но всех-то остальных задушили, говорят, у них языки вывалились изо рта.

Они стояли на краю оврага, который рассекал город пополам. У них за спиной остались освещенные дома, играла музыка, а впереди лежали глубь, сырость, светлячки и тьма.

— Может, нам не стоит идти сегодня в кино, — сказала Франсин. — А то еще Неприкаянный нас выследит и убьет. Не нравится мне этот овраг. Ты только глянь на него.

Лавиния взглянула; овраг, как динамо-машина, никогда не замирал, ни ночью, ни днем; над

ним висело гудение, жужжание и шебуршание животных, насекомых и листвы. Пахло, как в теплице, таинственными испарениями и древними размытыми сланцами и плывунами. И всегда, словно искры электрических разрядов, гудящее черное динамо разбрасывало по воздуху светлячков.

— Мне не придется возвращаться сегодня так поздно вечером через овраг, а тебе, Лавиния, придется спускаться по ступенькам, идти по мосту, а вдруг там тебя поджидает Неприкаянный?

— Чепуха! — бросила Лавиния Неббс.

— Это тебе придется идти по тропинке одной, прислушиваясь к своим шагам, а не мне. Домой ты будешь возвращаться одна-одинешенька. Лавиния, тебе не одиноко жить в этом доме?

— Старым девам нравится жить в уединении. — Лавиния показала на теплую тенистую тропу, которая погружалась во тьму. — Давай срежем путь.

— Страшно!

— Еще рано. Неприкаянный вылезает поздней ночью.

Лавиния взяла подругу за локоть и увлекла вниз по извилистой тропе в теплынь со сверчками и кваканьем, в тишину, которую способен

нарушить комариный писк. Они топтали выжженные летом травы, репейник цеплялся за их голые лодыжки.

— Побежали! — тяжко выдохнула Франсин.

— Нет!

Они свернули за изгиб тропы… и тут…

В непроницаемой поющей ночи, под сенью теплых деревьев, как бы выставив себя напоказ наслаждаться мягкими звездами и нежным ветерком, вытянув руки по швам, словно весла изящной лодки, лежала Элизабет Рамзелл!

Франсин истошно завопила.

— Не кричи! — Лавиния протянула руки, чтобы обнять плачущую навзрыд Франсин. — Нельзя! Нельзя!

Женщина лежала, словно на волнах, лицо залито лунным светом, остекленевшие глаза распахнуты, язык вывалился.

— Она мертва! — сказала Франсин. — Мертва! Мертва! Мертва!

Лавиния стояла в гуще тысяч теплых теней, крикливых сверчков и галдящих лягушек.

— Надо вызвать полицию, — сказала она наконец.

* * *

— Лавиния, обними меня! Я мерзну. Никогда в жизни мне не было так холодно!

Лавиния поддерживала Франсин, а полиция рыскала в трескучей траве, карманные фонарики шарили вокруг, голоса смешались, дело близилось к половине девятого.

— Как в декабре. Мне нужен свитер, — сказала Франсин с закрытыми глазами, уткнувшись в Лавинию.

Полицейский сказал:

— Пожалуй, вам можно идти по домам, дамы. Зайдите завтра в участок, мы бы хотели немного вас порасспросить.

Лавиния и Франсин удалились от полиции и от савана поверх утонченного существа на траве оврага.

Лавиния чувствовала, как громко стучит ее сердце, и ее тоже сковал февральский холод. На ее теле внезапно возникли хлопья снега, луна омывала ее хрупкие пальцы, отчего они стали еще бледнее, и она вспомнила, что говорила, пока Франсин рыдала, прижавшись к ней.

Издалека послышался голос:

— Вас проводить, дамы?

— Нет, мы справимся, — сказала Лавиния кому-то невидимому, и они зашагали дальше.

Они шли сквозь шуршащий и сопящий, шепчущий и щелкающий овраг, а мирок расследования, оставшийся за их спиной, уменьшался в размерах, гасли отсветы и голоса.

— Никогда раньше не видела трупов, — сказала Франсин.

Лавиния изучила свои наручные часики, словно они находились за тысячу миль и ее запястье отросло на невозможно большое расстояние.

— Еще только половина девятого. Возьмем с собой Элен и успеем на сеанс.

— Сеанс! — содрогнулась Франсин.

— Именно это нам сейчас нужно — все забыть. Незачем это помнить. Если пойдем домой, то запомним. А мы пойдем в кино как ни в чем не бывало!

— Лавиния, ты в своем уме?!

— Как никогда в своей жизни. Нам нужно сейчас посмеяться и развеяться.

— Но, Элизабет, там… твоя подруга, моя подруга…

— Мы ей ничем не поможем; мы можем помочь только самим себе. Идем же.

Они стали подниматься по склону оврага в

темноте, по каменистой тропе. И вдруг на ней, преграждая им путь, стоя неподвижно на одном месте и не замечая их, оказался Дуглас Сполдинг, смотрящий вниз на пляску огоньков и тело, прислушиваясь к начальственным возгласам.

Он торчал там, бледный как гриб, руки по швам, заглядывая в овраг.

— Марш домой! — взвизгнула Франсин.

Он не услышал.

— Кому говорят! — вопила Франсин. — Домой! Прочь отсюда! Слышишь? Домой, домой, *домой*!

Дуглас потряс головой и уставился на них, словно их там не было. Его губы зашевелились, издав какое-то мычание. Потом он молча повернулся и побежал беззвучно к отдаленным холмам, в теплую темноту.

Франсин снова зарыдала и пошла с Лавинией Неббс.

* * *

— Вот вы где! Я уж думала, вы никогда не объявитесь! — Элен Грир стояла на своей веранде, постукивая туфелькой по верхней ступеньке. — Опоздали на час! Только и всего! Что-то стряслось?

— Мы… — заговорила было Франсин.

Лавиния вцепилась ей в плечо.

— Там поднялась суматоха. Кто-то нашел Элизабет Рамзелл в овраге.

— Мертвой? Она… умерла?

Лавиния кивнула. У Элен перехватило дыхание, и она приложила руку к горлу.

— Кто ее нашел?

Лавиния крепко сжала запястье Франсин.

— Мы не знаем.

Три молодые женщины стояли посреди летнего вечера, глядя друг на друга.

— Я собираюсь зайти в дом и запереть двери, — сказала, наконец, Элен.

Но в результате она пошла за свитером, потому что, несмотря на то что все еще было тепло, она пожаловалась на внезапно нагрянувшую зимнюю ночь. Пока ее не было, Франсин лихорадочно зашептала:

— Почему ты ей не сказала?

— Зачем ее огорчать? — сказала Лавиния. — Завтра. Завтра еще будет полно времени.

Все трое зашагали по улице под черными деревьями, мимо внезапно позапиравшихся домов. Вот как быстро доходят новости из оврага, от дома к дому, с веранды на веранду, с телефона на телефон. Проходя мимо, они чувствовали, как из-за

занавешенных окон их провожают взглядами под лязг засовов. Как странно — фруктово-ванильная ночь, вечер плотно утрамбованного мороженого, противомоскитного лосьона на запястьях, ночь детской беготни, неожиданно прерванных игр и детворы, загнанной за стекло и дерево, эскимо, тающее в лужицах лайма и клубники, там, куда оно шлепнулось, когда детей попрятали по домам. Странные душные комнаты, в которых обливающиеся потом люди вновь сгрудились за бронзовыми дверными ручками и дверными молоточками. Недочерченные «классики» на жарком, парящем тротуаре. Словно кто-то предсказал молниеносные заморозки.

— Надо рехнуться, чтобы разгуливать в такую ночь, — сказала Элен.

— Неприкаянный не убьет трех женщин, — сказала Лавиния. — Число — залог безопасности. К тому же еще рано. Между убийствами должен пройти месяц.

На их перепуганные лица пала тень. За деревом замаячил чей-то силуэт. Женщины исторгли жуткий вопль, каждая на свой душераздирающий лад, словно кто-то что было силы шарахнул кулаком по клавишам органа.

— Попались! — взревел голос.

Им наперерез выскочил мужчина. Он вышел на свет и расхохотался. Облокотился на дерево, тыча пальцем в женщин, изнемогая от смеха, и снова загоготал.

— Привет! Я — Неприкаянный! — представился Фрэнк Диллон.

— Фрэнк Диллон!

— Фрэнк!

— Фрэнк, — возмутилась Лавиния, — если ты еще раз выкинешь какое-нибудь ребячество в этом роде, кто-нибудь изрешетит тебя пулями!

— Ну и расплата!

Франсин истерически зарыдала.

Улыбка сошла с лица Фрэнка Диллона.

— Послушайте, я извиняюсь.

— Убирайся! — велела Лавиния. — Ты что, не знаешь, что Элизабет Рамзелл… нашли убитой в овраге? А ты носишься по округе, пугаешь женщин? Не смей больше с нами заговаривать!

— Ах, как же…

Они зашагали. Он — за ними.

— Стой где стоишь, мистер Неприкаянный, и пугай сам себя. Сходи, взгляни на Элизабет Рамзелл, может, это тебя развеселит. Спокойной ночи!

Лавиния повела своих подруг по улице, под

сенью деревьев и звезд. Франсин прикрывала лицо платочком.

— Франсин, это всего лишь розыгрыш. — Элен посмотрела на Лавинию. — Почему она так горько плачет?

— Мы скажем тебе, когда придем в центр города. Мы собираемся пойти в кино, во что бы то ни стало. Хватит с нас. Идем же, приготовь денежки, мы почти на месте!

* * *

Кафе превратилось в озерцо вязкого воздуха, который большие деревянные лопасти вентиляторов перемешивали с запахами арники, тоника и газировки и изгоняли на кирпичные мостовые.

— Мне зеленых мятных подушечек на пять центов, — попросила Лавиния продавца.

Его лицо было сосредоточенным и бледным, как и у всех, кого они встречали на полупустынных улицах.

— Чтобы есть их во время сеанса, — сказала Лавиния, а продавец тем временем взвешивал зеленые конфетки при помощи серебряной лопаточки.

— Сегодня вы выглядите бесподобно, дамы.

Мисс Лавиния, сегодня днем, когда вы зашли на стаканчик шоколадной газировки, вы выглядели великолепно. Настолько великолепно, что какой-то мужчина стал про вас расспрашивать.

— О-о?

— Человек сидел у стойки… смотрел, как вы выходите. Спрашивает меня: «Послушайте, кто это?» — «Это Лавиния Неббс — самая красивая девушка в городе», — ответил я. Он говорит: «Она красавица, а где она живет»? Тут продавец осекся от смущения.

— Вы же не сказали, — вмешалась Франсин. — Ведь вы не дали ее адрес, правда же? Не дали?!

— Вообще-то, мне и в голову не пришло. Я сказал, на Парк-стрит, знаете ли, близ оврага. Фраза, сказанная между делом. Но сейчас, когда нашли тело… Я слышал несколько минут назад, я подумал, ах, боже, что я наделал!

Он вручил ей пакетик, наполненный до краев.

— Ну и дурак! — вскричала Франсин, и на ее глаза навернулись слезы.

— Я прошу прощения, хотя, может, все это и яйца выеденного не стоит.

Лавиния стояла в центре внимания трех человек, которые уставились на нее. Они не испытывала никаких ощущений, ну, может, лишь

легкое покалывание в горле от возбуждения. Она машинально протянула деньги.

— Эти — бесплатно, — сказал продавец, отворачиваясь, чтобы разобрать кое-какие бумаги.

— Вот что я сейчас сделаю! — Элен вышла из кафе. — Я закажу такси, которое развезет нас всех по домам. Я не собираюсь потом участвовать в твоих поисках, Лавиния. У этого мужчины на уме что-то нехорошее. Расспрашивал про тебя. Хочешь стать следующим трупом в овраге?

— Человек как человек, — сказала Лавиния, медленно окидывая взглядом город.

— Фрэнк Диллон тоже человек, а вдруг он и есть Неприкаянный?

Они заметили, что Франсин не стала выходить вместе с ними, и, обернувшись, увидели, что она их нагоняет.

— Я потребовала, чтобы продавец описал его приметы. Какой-то незнакомец, — сказала она. — Темный костюм, бледный, худой.

— Мы все крайне взвинчены, — сказала Лавиния. — На такси я не поеду, если вы его вызовете. Раз мне суждено стать следующей жертвой, значит, так тому и быть. В жизни слишком мало треволнений, особенно у старой девы тридцати трех лет от роду. Так что пусть это вас не волнует.

И вообще это глупо; никакая я не красавица.

— Но ты красивая, Лавиния; самая красивая женщина в городе, после Элизабет… — Франсин запнулась. — Ты отгоняешь от себя мужчин. Если бы ты так не усердствовала, давно бы вышла замуж!

— Хватит причитать, Франсин! Вот касса. Я плачу сорок один цент, чтобы посмотреть Чарли Чаплина. Если вы обе хотите поехать на такси, пожалуйста. Я сяду одна и домой пойду одна.

— Лавиния, ты с ума сошла; мы не можем тебе такое позволить…

Они вошли в кинотеатр.

Показали первую часть, начался антракт, и в сумрачном кинозале почти никого не было. Три дамы сидели в середине зала, пахло старинной полированной бронзой. Из-за потертых красных бархатных кулис вышел управляющий, чтобы сделать объявление.

— Полиция попросила нас закрыться пораньше, чтобы все могли выйти и отправиться домой в не столь позднее время. Поэтому мы сокращаем программу короткометражек и немедленно начинаем показывать основную картину. Сеанс заканчивается в одиннадцать. Всем рекомендуется идти прямиком домой. Не задерживайтесь

на улице.

— Это к нам относится, Лавиния! — прошептала Франсин.

Свет погас. Экран ожил.

— Лавиния! — прошептала Элен.

— Ну, что еще?

— Когда мы заходили, человек в темном костюме с той стороны улицы перешел на эту. Он только что прошел по проходу и сидит у нас за спиной.

— А-а, Элен!

— Прямо за нами?

По очереди три женщины обернулись поглядеть.

Они увидели бледное лицо в мелькающих жутковатых отсветах с экрана. Оно ничем не отличалось от остальных мужских лиц, маячивших в темноте.

— Я вызываю управляющего! — Элен поднималась по проходу. — Остановите фильм! Дайте свет!

— Элен, вернись! — закричала Лавиния, вставая.

* * *

Они постучали по донышку осушенных стаканов с газировкой, у каждой ванильные усики на верхней губке, которые они нащупали кончиком языка и засмеялись.

— Ты видишь, как глупо? — вопрошала Лавиния. — Вся эта кутерьма впустую. Как неловко!

— Извини, — тихо сказала Элен.

Часы показывали половину двенадцатого. Они вышли из темноты кинотеатра, прочь от шаркающего потока мужчин и женщин, торопящихся попасть куда-то и никуда, на улицу, посмеиваясь над Элен, которая и сама пыталась смеяться над собой.

— Элен, когда ты бежала по проходу и кричала «Дайте свет!», я думала, что помру. Ах, этот бедняга!

— Братец директора кинотеатра из Расина!

— Я же извинилась, — сказала Элен, глядя вверх, на большой вентилятор, который еще крутился, завихряя теплый ночной воздух, смешивая, перемешивая ароматы ванили, малины, мяты и «Лизола».

— Не нужно было терять время на газировку. Полиция же предупреждала…

— А, к черту полицию, — усмехнулась Лавиния. — Я ничего не боюсь. Неприкаянный сейчас за миллион миль отсюда. Его еще несколько недель не будет, а к тому времени полиция его сцапает. Дайте срок. Замечательный был фильм, правда?

— Закрываемся, дамы.

В прохладной, кафельно-белой тишине продавец выключил свет.

С улиц как ветром сдуло автомобили, грузовики и прохожих. Яркие огни все горели в витринах магазинчиков, где теплые восковые манекены поднимали лиловые восковые руки в горящих бело-голубых бриллиантах, выставляли напоказ оранжевые восковые ноги в чулочках. Стеклянно-синие глаза манекенов следили за дамами, проходящими мимо, по пересохшему руслу улицы, их лики мерцали в витринах, как цветы в потоке темных вод.

— Интересно, если мы закричим, они что-нибудь сделают?

— Кто?

— Манекены, народец из витрины.

— О-ох, Франсин.

— Ладно…

В витринах стояла тысяча людей, одеревенелых

и безмолвных, а на улице три человека постукивали каблучками по раскаленной мостовой, и отзвуки их шагов отскакивали от магазинных вывесок, как выстрелы.

Они миновали тускло мигавшую красную неоновую рекламу, которая гудела, словно околевающее насекомое.

Впереди простирались длинные авеню, раскаленные и белесые. Высокие деревья трепетали на ветру, который касался лишь зеленых верхушек, выстроившись по обе стороны трех маленьких женщин. Издалека, со шпиля здания суда, они казались тремя кустами репейника.

— Сначала проводим тебя, Франсин.

— Нет, это я провожу вас.

— Не болтайте глупостей. Вы живете на отшибе, у Электрик-парка. Если вы проводите меня, вам придется одним топать обратно через овраг. И если на вас свалится хотя бы листочек, вы помрете.

— Я могу переночевать у тебя дома, — сказала Франсин. — Это же ты у нас *красотка*!

Они шагали, плыли, как три изысканно разодетых силуэта, по залитому луной морю лужаек и бетона. Лавиния наблюдала, как мелькали деревья по обе стороны от нее, прислушиваясь

к журчанию голосов подруг, которые силились выдавить из себя смех; и ночь, казалось, ускоряется, казалось, они бегут, хотя медленно шагали, всё, казалось, убыстряется и окрашивается в цвет горячего снега.

— Давайте споем, — предложила Лавиния.

Они запели:

— Сияй, сияй, о полная луна…

Они пели сладкоголосо и тихо, рука об руку, не оглядываясь. Чувствовали, как горячий тротуар под ногами остывает, движется, движется.

— Послушайте! — сказала Лавиния.

Они прислушались к летней ночи, в которой сверчки и далекий бой часов на здании суда возвестили, что уже без четверти двенадцать.

– *Послушайте*!

Лавиния прислушалась. В темноте поскрипывали качели, на которых молча, в одиночестве, сидел мистер Терле, докуривая последнюю сигару. Розоватый огонек плавно раскачивался из стороны в сторону.

И вот огни затухают, угасают, гаснут. Свет в маленьких жилищах и освещение больших домов, желтые огоньки и зеленые керосиновые лампы, свечи и коптилки, огоньки на верандах и все остальное запирается на стальные, железные,

бронзовые засовы, думала Лавиния, замыкается и задраивается, занавешивается и затеняется. Она представила людей в залитых лунным светом постелях. Их ночное дыхание в летних спальнях, в безопасности, вместе. «А тут мы, — думала Лавиния, — шагаем в летней ночи по раскаленному тротуару. Одинокие уличные фонари светят на нас, отбрасывая пьяные тени».

— Вот твой дом, Франсин. Спокойной ночи.

— Лавиния, Хелен, переночуйте у меня. Уже поздно, скоро полночь. Можете лечь у меня в гостиной. Я заварю горячий шоколад… будет здорово! — Франсин притягивала их обеих к себе.

— Нет, спасибо, — сказала Лавиния.

И Франсин заплакала.

— Франсин, не начинай снова, — сказала Лавиния.

— Я не хочу, чтобы ты умерла, — рыдала Франсин, и слезы катились в три ручья по ее щекам. — Ты такая красивая, изящная. Я хочу, чтобы ты жила. Прошу тебя, пожалуйста!

— Франсин, я не знала, что это все так на тебя подействовало. Обещаю позвонить тебе, как только дойду до дому.

— Правда позвонишь?

— И скажу, что цела-невредима. А завтра в обед

мы устроим пикник в Электрик-парке. Как насчет моих сэндвичей с ветчиной? Вот увидишь, я буду жить вечно!

— Значит, позвонишь?

— Ну, раз пообещала.

— Спокойной ночи, спокойной ночи! — Франсин бросилась наверх, юркнула за дверь, хлопнула ею и мгновенно заперлась на все замки-засовы.

— Теперь, — обратилась Лавиния к Элен, — я провожу домой *тебя*.

* * *

На здании суда раздался бой часов. Звон разнесся по обезлюдевшему городу, который никогда не бывал безлюднее этого. Звук затухал над безлюдными улицами, и безлюдными пустырями, и безлюдными лужайками.

— Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, — считала Лавиния с Элен под руку.

— Странно, правда? — спросила Элен.

— Что именно?

— Что мы здесь, на тротуаре, под деревьями, а все остальные в безопасности за запертыми дверями, в постели. На тысячу миль вокруг мы — единственные, кто в открытую ходит пешком.

Приближалось звучание глубокого темного теплого оврага.

Через минуту они стояли перед дверями Элен, пристально глядя друг на друга. Между ними ветер пронес запах скошенной травы. Луна тонула в небе, которое начало затягиваться облаками.

— Думаю, бесполезно просить тебя переночевать у меня, Лавиния?

— Я иду дальше.

— Иногда…

— Иногда… что?

— Иногда я думаю, что людям хочется смерти. Весь вечер ты ведешь себя подозрительно.

— Просто я не боюсь, — сказала Лавиния. — И мне, наверное, любопытно. И я размышляю. По логике вещей, Неприкаянного поблизости быть не должно. Полно полиции и все такое.

— Полиция сидит по домам, натянув одеяло по самые уши.

— Скажем так, я развлекаюсь, рискованно, но безобидно. Если бы существовал хоть один реальный шанс, что со мной что-то произойдет, я бы осталась с тобой, можешь не сомневаться.

— Может, в душе ты больше не хочешь жить.

— Да что вы заладили, ей-богу, с Франсин на пару!

— Я чувствую себя виноватой — буду попивать горячий шоколад в тот самый момент, когда ты спустишься на дно оврага и пойдешь по мосту.

— И выпей чашечку за меня. Спокойной ночи.

Лавиния Неббс зашагала в одиночку по улице в тишине летней ночи. Она видела дома с темными окнами и слышала собачий лай вдалеке. Через пять минут, подумала она, я буду в безопасности, у себя дома. Через пять минут я буду звонить крошке Франсин. Я…

Она услышала мужской голос.

Далеко, среди деревьев, пел мужчина.

— Подари мне июньскую ночь, лунный свет и себя…

Она прибавила шагу.

Голос распевал:

— В моих объятиях… с твоими чарами…

По улице при тусклой луне медленно шагал человек и непринужденно напевал.

«Я могу добежать и постучаться в какую-нибудь дверь, — подумала Лавиния, — если придется».

— Подари мне июньскую ночь, — пел человек с длинной дубинкой в руках. — Лунный свет и ты. Кого я вижу! Ну и времечко вы выбрали для прогулок, мисс Неббс!

— Полисмен Кеннеди!

Именно он это и был, конечно.

— Лучше я провожу вас до дому!

— Спасибо, я справлюсь.

— Но ведь вы живете по ту сторону оврага…

«Да, — подумала она, — но я не пойду через овраг ни с одним мужчиной, даже с полицейским. Откуда мне знать, кто он, этот Неприкаянный?»

— Нет, — сказала она. — Я тороплюсь.

— Буду ждать здесь, — сказал он. — Понадобится помощь — кричите что есть мочи. Голоса здесь хорошо слышны. Я прибегу.

— Благодарю.

Она пошла дальше, оставив его под светом фонаря одного, напевать себе что-то под нос.

«Я иду», — подумала она.

Овраг.

Она стояла на краю ста тринадцати ступенек, которые спускались по крутому откосу, затем пересекали мост в семьдесят ярдов, потом выводили вверх по склону на Парк-стрит. И все это при свете одного-единственного фонаря. «Через три минуты, — думала она, — я буду вставлять ключ в замок своего дома. За эти сто восемьдесят секунд ничего не может случиться».

Она начала спускаться в глубокий овраг по нескончаемым темно-зеленым ступенькам.

— Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять ступенек, — считала она шепотом.

Ей казалось, будто она бежит, но она не бежала.

— Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать ступенек, — выдохнула она.

— Одна пятая пути! — сообщила она себе.

Овраг глубок и черен, черен, черен! Внешний мир канул за ее спиной: мир людей в безопасности, в постелях, за запертыми дверями; город, кафе, кинотеатр, свет — все исчезло. Только овраг, черный и огромный, существовал и жил вокруг нее.

— Ничего же не случилось? Поблизости никого? Двадцать четыре, двадцать пять ступенек. Помнишь старый рассказ про привидения, который мы рассказывали друг другу в детстве?

Она прислушалась к звуку своих шагов на лестнице.

— Рассказ про черного человека, который приходит в твой дом, а ты наверху в постели. Вот он на первой ступеньке по пути в твою комнату. Вот уже на второй. Уже на третьей, на четвертой, на пятой! О, как же мы хохотали и визжали, когда

рассказывали эту историю! А теперь страшный черный человек на двенадцатой ступеньке, он отворяет дверь в твою спальню, стоит над твоей кроватью. «ПОПАЛАСЬ!»

Она исторгла истошный вопль. Ничего похожего на этот вопль она не слыхивала. Она никогда так громко не кричала в своей жизни. Она остановилась, замерла, вцепилась в деревянные перила. Сердце у нее внутри взорвалось. Испуганное биение наполнило вселенную.

— Вон там! — кричала она сама себе. — На нижней площадке. Человек под фонарем! Нет, теперь он исчез. Он там дожидался!

Она прислушалась.

Тишина.

На мосту пусто.

«Ничегошеньки, — подумала она, держась за сердце. — Ничегошеньки. Вот дура! Рассказала сама себе историю. Какая глупость. Как мне быть?»

Сердцебиение улеглось.

Позвать полисмена… услышал ли он мой крик?

Она прислушалась. Ничего. Ничего.

Пройду остаток пути. Что за дурацкий рассказ.

Она принялась опять считать ступеньки.

— Тридцать пять, тридцать шесть, осторожно,

не оступись. Ах, какая же я идиотка. Тридцать семь. Тридцать восемь, девять. Сорок. И еще две. Сорок две. Полпути почти пройдено.

Она опять замерла.

«Постой-ка», — сказала она себе.

Она сделала шаг. Послышалось эхо.

Сделала еще шаг.

Опять эхо. Еще шаг, спустя долю секунды.

— Кто-то за мной идет, — прошептала она оврагу, черным сверчкам, темно-зеленым попрятавшимся лягушкам, черному ручью. — Кто-то спускается по ступенькам следом за мной. Я не смею обернуться.

Еще шаг. Еще эхо.

— Стоит мне сделать шаг, как и они делают шаг.

Один шаг и одно эхо.

Жалобным голоском она спросила у оврага:

— Полицейский Кеннеди, это *вы*?

Сверчки замолчали.

Сверчки слушали. Ночь прислушивалась к *ней*. Ради разнообразия все далекие луга и близкие деревья в летней ночи прекратили двигаться. Лист, куст, звезда, трава на лужайке прекратили трепыхаться и прислушивались к сердечку Лавинии Неббс. И может, за тысячу миль, в краю, где

нет ничего, кроме локомотивов, на пустынном полустанке, одинокий странник, читающий темную газету при свете единственной лампочки, поднимет голову, прислушается и подумает: «Что это было?» И решит: «Всего лишь сурок, стучит лапкой по полому стволу». А это на самом деле Лавиния Неббс, стук сердца Лавинии Неббс.

Тишина. Тишина летней ночи, разлитая на тысячу миль, как белесое призрачное море.

Скорее, скорее! Она спускалась по ступенькам.

Бегом!

Она услышала музыку. Безумную, сумасбродную. Услышала, как ее ударил мощный вал музыки. В страхе и смятении она побежала и на бегу осознала, что некий закоулок ее разума сгущает краски, заимствуя их из партитуры к чьей-то бурной личной драме, и музыка подталкивает и подгоняет ее, на высоких, пронзительных тонах, быстрее и быстрее, подхлестывая и торопя, все вниз и вниз, в провал оврага.

— Еще немного, — молилась она. — Сто восемь, девять, сто десять ступеней! Дно! Теперь бегом по мосту!

В этот миг белого ужаса она повелевала своим ногам, рукам, туловищу и страху, распоряжалась всем своим естеством. Она мчалась над ревущи-

ми водами реки, по гулким, бухающим, зыбким, как живым, шатким доскам моста, преследуемая грохочущими шажищами у нее за спиной, за спиной! Нагоняемая музыкой, клокочущей и пронзительной.

Он гонится за мной. Не оглядываться, не смотреть! Если ты его увидишь, то остолбенеешь от страха. Беги, только беги!

Она пробежала по мосту.

О боже, боже! Прошу, умоляю, дай мне взбежать на холм. Теперь вверх по тропе, между холмами, о боже, как же все темно и далеко. Что толку кричать. Все равно я не могу кричать. Вершина тропы. Улица. О боже, защити. Если я живой доберусь до дому, то ни за что больше не выйду одна. Какая же я дура! Это надо признать. Я — дуреха. Я не понимала, что такое ужас, но если ты позволишь мне дойти до дому, то отныне я без Элен, без Франсин — ни шагу! Вот наша улица. Перехожу улицу!

Она перебежала улицу и помчалась по тротуару.

О боже, веранда! Мой дом! О боже, дай мне успеть зайти в дом и запереться на ключ, и я в безопасности!

И тут… что за глупость… она заметила… на кой

черт, она заметила, мимоходом, впопыхах, впопыхах… но промелькнул… на перилах веранды, недопитый стакан лимонада, оставленный ею целую вечность назад, в прошлом году, вечером! Стакан невозмутимо покоился на перилах… и…

Она услышала свои неуклюжие шаги на веранде и прислушалась, и почувствовала, как ее ключ царапает и терзает замок. Она услышала стук своего сердца. Услышала вопль своего внутреннего голоса.

Ключ подошел.

Отворяй дверь, шевелись, шевелись!

Дверь отворилась.

Теперь — внутрь. Захлопни дверь!

Она захлопнула дверь.

— Теперь запри, запри на ключ, на засов! — жалостливо задыхалась она. — Крепко-накрепко!

Дверь заперта на замки и засовы.

Музыка оборвалась. Она снова услышала свое сердцебиение, которое постепенно сливалось с тишиной.

Дома! О боже, дома, в безопасности. Дома, цела и невредима, жива-здорова! Она сползла по двери. Жива, жива. Буду сидеть дома, о, слава богу, дома, цела, уцелела. Никогда больше не выйду из дому ночью. Буду сидеть дома. Никогда больше

не пойду оврагом. Жива, жива, жива и у себя дома. Ах, как же мне хорошо, хорошо! Жива! У себя дома, невредима, дверь заперта. Постой-ка.

Выгляни в окно.

Она выглянула.

И вовсе там никого нет! Ни души. Никто за мной не гнался. Никто за мной не мчался. Она перевела дух и чуть не рассмеялась над собой. В самом деле. Если бы меня преследовал мужчина, он бы меня настиг! Не так уж быстро я бегаю… ни на веранде, ни во дворе никого нет. Какая ж я глупая. Я ни от чего не убегала. Этот овраг не опаснее любого другого места. То же самое. Здорово же быть дома. Дом — доброе, теплое местечко, нигде не бывает так хорошо.

Она потянулась к выключателю и замерла.

— Что? Что? — спросила она. — Что такое?

У нее за спиной, в гостиной, кто-то прокашлялся.

XXV

— Ну, что ты будешь делать, они все портят!

— Не принимай близко к сердцу, Чарли.

— О чем будем говорить сегодня? Про Неприкаянного говорить не имеет смысла, раз его даже нет в живых! Больше не страшно!

— Не знаю, как ты, Чарли, — сказал Том, — а я пойду к Летней резиденции Зимы, сяду в дверях и буду делать вид, что он жив, и чтоб мне всю спину проморозило снизу доверху.

— Это притворство.

— Холодом надо запасаться при каждом удобном случае, Чарли.

Дуглас не прислушивался к Тому и Чарли. Он смотрел на дом Лавинии Неббс и почти что разговаривал сам с собой.

— Прошлой ночью я был там, в овраге. Я видел. Все видел. По дороге домой я срезал угол и видел стакан с лимонадом на перилах веранды, полупустой. Мне еще подумалось, не выпить ли его. Ведь я люблю лимонад. Я был в овраге, посреди всего этого.

Том и Чарли, в свою очередь, пренебрегали

Дугласом.

— Если уж на то пошло, — сказал Том. — Не очень-то верится, что Неприкаянный окочурился.

— Ты ведь был здесь утром, когда «Скорая помощь» вытаскивала этого несчастного на носилках?

— Конечно, — сказал Том.

— Так это и *был* Неприкаянный, тупица! Читай газеты! Спустя долгих десять лет Лавиния Неббс проткнула его подвернувшимися под руку швейными ножницами. По мне, так лучше бы она занималась своим делом.

— А ты бы хотел, чтобы она разлеглась, а он бы ее придушил?

— Нет, но она по крайней мере могла же выскочить из дому и побегать по улице с криками «Неприкаянный! Неприкаянный!», чтобы дать ему шанс смыться. До вчерашней ночи в нашем городе еще водилось что-то стоящее, а теперь мы превратились в ванильный творожок.

— Повторяю последний раз, Чарли: сдается мне, Неприкаянный жив. Я видел то лицо, ты видел то лицо, Дуг видел то лицо; видел же, Дуг?

— Что? А, да, видел, видел.

— Все видели его лицо. Теперь скажите мне:

как, по-вашему, было оно похоже на Неприкаянного?

— Я… — сказал Дуглас и запнулся.

Солнце секунд на пять потускнело.

— Ну и дела… — прошептал наконец Чарли.

Том ждал, улыбаясь.

— Он совсем не был похож на Неприкаянного, — выдохнул Чарли. — Он был похож на человека.

— Вот именно, обычного, заурядного человека, который и мухи бы не обидел, Чарли, даже мухи! Самое меньшее, на что способен Неприкаянный, если он Неприкаянный, так это быть похожим на Неприкаянного, правда же? А этот был похож на продавца сладостей напротив кинотеатра «Элит» перед вечерним сеансом.

— Как ты думаешь, кто он был? Бродяга, которого занесло в наш город? Он забрался в дом, приняв его за заброшенный, а тут мисс Неббс его и зарезала?

— Скорее всего!

— Постойте-ка. Никто из нас не знает, как должен выглядеть Неприкаянный. Фотографий нет. Все, кто его видел, мертвы.

— Ты знаешь, и Дуг знает, и я знаю, как он выглядит. Он высокий, так ведь?

— Конечно…

— И бледный, правильно?

— Да, бледный.

— И худющий, как скелет, и носит длинные черные волосы, так?

— Я так всегда и говорил.

— И большие навыкате зеленые глазищи, как у кота?

— Вылитый он.

— Ладно, — фыркнул Том. — Вы видели того бедолагу, которого вынесли из дома мисс Неббс пару часов назад. Какой он был из себя?

— Коротышка, краснолицый, полноватый, волосы редеющие, и, главное, он был рыжий. Том, ты попал в самую точку! Давай! Зови ребят! И расскажи им все, как только что рассказывал мне. Неприкаянный не издох и этой ночью будет рыскать по всей округе.

— Да, — сказал Том и вдруг замолчал и призадумался.

— Том, ты мировой парень. Котелок у тебя варит как надо. Никто бы из нас не смог вот так спасти положение. Лето с этой самой минуты было обречено на провал. Ты же, ни дать ни взять, тот мальчик, который заткнул прохудившуюся плотину пальчиком. Так что еще есть надежда на

август. Эй, парни!

И, заверещав, Чарли стремглав умчался, покачивая руками, как крыльями.

Том, побледнев, стоял на тротуаре напротив дома Лавинии Неббс.

— Ну и ну! — прошептал он. — Что же я наделал!

Он повернулся к Дугласу.

— Ты слышал, Дуг, что я только что натворил?

Дуглас глазел на дом, шевеля губами.

— Я был там прошлой ночью, в овраге. Я видел Элизабет Рамзелл. Я проходил мимо этого дома прошлым вечером и видел стакан с лимонадом на перилах. Всего лишь прошлой ночью это было. Я мог бы, пожалуй, выпить этот лимонад… Ведь мог же…

XXVI[23]

Она ходила с метлой или совком, тряпкой или половником. По утрам можно было видеть, как она взрезает корочку пирога и гудит себе что-то под нос, днем выставляет испеченные пироги, а в сумерках собирает их уже охлажденными. Она расставляла по местам фарфоровые чашки, словно звонила в колокольчик. Она степенно, подобно пылесосу, проплывала по комнатам, искала, находила, приводила в порядок. Каждое окно у нее превращалось в зеркало, отражающее солнце. Стоило ей пройтись взад-вперед по любому саду с лопаткой в руке, как цветы распускали свои трепетные огоньки на поднятой ею теплой волне воздуха. Она почивала безмятежно и поворачивалась во сне раза три за ночь, обмякшая, как белая перчатка, в которую на рассвете возвратится проворная рука. Пробудившись, она прикасалась к людям, как к картинам, чтобы поправить их покосившиеся рамки.

А нынче?..

---

[23] Сноски: 23

Рассказ Р. Брэдбери «Бабушка, прощай!» («Good-By, Grandma», Saturday Evening Post, May 25, 1957).

— Бабушка, — сказали все. — Прабабушка.

Казалось, решилась наконец большая арифметическая задача на сложение. Бабушка фаршировала индеек, цыплят, голубей, джентльменов и мальчиков. Она мыла потолки, стены, инвалидов и детей. Стелила линолеум, чинила велосипеды, заводила часы, топила печи, смазывала йодом тысячи жгучих ссадин. Ее руки взлетали вверх и вниз что-то пригладить, что-то придержать, подать бейсбольный мяч. Она взмахивала пестрыми крокетными битами, бросала в чернозем семена, прилаживала крышки на клецки и рагу, укутывала разметавшихся во сне малышей. Опускала шторы, гасила кончиками пальцев свечи, поворачивала выключатели и… увядала. Тридцать миллиардов начинаний, исполненных, доведенных до конца дел сложились и подытожились; прибавились последние десятые доли, последний нолик незаметно скакнул на место. Теперь с мелком в руке она тихонько отошла в тень за час до того, как все сотрется с доски.

— Так, так, — сказала прабабушка. — Что же мы имеем…

Без лишнего шума и суеты она обошла дозором дом, добралась наконец до лестницы и, не делая экстренных сообщений, поднялась на три проле-

та вверх в свою спальню, где безмолвно улеглась, как ископаемый отпечаток, под прохладные белоснежные покрывала своей постели и начала умирать.

И вновь голоса:

— Бабушка! Прабабушка!

Слух о том, что она затеяла, упал в лестничную шахту, пронесся по комнатам, вылетел из окон и дверей и разнесся по улице, обсаженной вязами, пока не достиг края зеленого оврага.

— Сюда! Сюда!

Домочадцы окружили ее ложе.

— Дайте мне просто полежать, — прошептала она.

Ее недуг нельзя было разглядеть ни в один микроскоп. Неумолимо, мало-помалу накапливалась усталость, тайно взвешивалось ее воробьиное тельце; она все больше погружалась в дрему, в сонливость, в сон.

Ее детям и детям ее детей казалось невероятным, что таким простым и непринужденным действием она способна вызвать этакий переполох.

— Прабабушка! Послушай! Это все равно что расторгнуть договор аренды. Без тебя наш дом развалится. Тебе следовало уведомить нас хотя

бы за год!

Прабабушка приоткрыла один глаз. Девяносто лет спокойно взглянули на ее врачевателей, словно разводы пыли из окна под куполом дома, который быстро опустошался.

— Том?..

Мальчика отправили к ее шуршащей постели одного.

— Том, — донесся издалека ее слабеющий голос, — в Южных морях в жизни каждого человека наступает день, когда он осознает, что пора пожать руки старым друзьям, попрощаться и отплыть восвояси. Так он и поступает. И это естественно, ведь его час пробил. Так и сегодня. Иногда мы с тобой так похожи: ты тоже просиживаешь в кино с субботних утренних сеансов до девяти вечера, пока мы не посылаем папу, чтобы он привел тебя домой. Том, когда приходит твой черед и все те же ковбои стреляют в тех же индейцев на тех же холмах, значит, самое время поднять откидное сиденье и по проходу между рядами направиться к выходу без оглядок и сожалений. Вот я и ухожу, пока счастлива и всем довольна.

Следующим к ней был призван Дуглас.

— Бабушка, кто же будет следующей весной

обшивать крышу?

Каждый апрель месяц с тех времен, как завелись календари, казалось, с крыши доносится дробь дятла. Ан нет, оказывается, это прабабушка, неизвестно как перенесенная в поднебесье, распевает песенки, забивает гвозди и меняет кровельную дранку!

— Дуглас, — прошептала она, — никому не позволяй чинить кровлю, если это не доставляет им удовольствия.

— Слушаюсь.

— Вот наступит апрель, оглянись вокруг и спроси: «Кто хочет подлатать крышу?» И как только увидишь озаренное лицо, значит, этот человек тебе и нужен, Дуглас. Потому что там, на верхотуре, с крыши тебе видно, как весь город устремляется к полям, а оттуда на край света. Под тобой сверкают речка и утреннее озеро; под тобой птицы на деревьях, а над головой — свежайший ветер. Хватит и одного из этих благ, чтобы однажды весною на рассвете подвигнуть человека на покорение флюгера. В этот час ты ощущаешь такой прилив сил, что способен свернуть горы, надо только дать ему полшанса…

Ее голос сорвался на бормотание.

Дуглас заплакал.

Она снова очнулась.

— Почему ты так себя ведешь?

— Потому что, — сказал он, — завтра тебя здесь не будет.

Она развернула зеркальце от себя в сторону мальчика. Он посмотрел на ее лицо и на свое отражение в зеркале, потом опять на нее, и тут она заговорила:

— Завтра утром я встану в семь и помою уши. Сбегаю в церковь с Чарли Вудменом. Устрою пикник в Электрик-парке. Поплаваю, побегаю босиком, грохнусь с дерева, пожую мятную жвачку… Дуглас, Дуглас, как тебе не стыдно! Ты стрижешь ногти?

— Да.

— Ты же не поднимаешь крик, когда твое тело обновляется каждые семь лет, старые клетки отмирают и новые прирастают к твоим пальцам, к твоему сердцу. Ведь ты не возражаешь?

— Нет.

— А теперь пораскинь умом. Всякий, кто хранит обрезки ногтей, — дурак. Ты когда-нибудь видел, чтобы змея переживала из-за своей сброшенной кожи? В сущности, сейчас в этой постели — обрезки ногтей и змеиная кожа. Стоит на меня хорошенько подуть, и я разлечусь в пух и прах.

Важна не моя плоть, что распростерта здесь, а мое продолжение, которое сидит на краю кровати и глазеет на меня, готовит внизу ужин, лежит в гараже под машиной или читает в библиотеке. Важно все новое, что произошло от меня. Я сегодня не умираю окончательно. Тот, у кого есть семья, не умрет. Я останусь с вами надолго. И через тыщу лет целый город моих потомков будет грызть кислые яблоки в тени эвкалипта. Вот мой ответ на ваши проклятые вопросы. А теперь зови остальных, да побыстрее!

Наконец большое семейство выстроилось, как на проводы в зале ожидания на вокзале.

— Ладно, — сказала прабабушка, — значит, так. Я не немощная, поэтому мне приятно видеть вас у моей постели. Итак, на следующей неделе придется наконец заняться садоводством, расчисткой чуланов, покупкой детской одежды. Поскольку та часть меня, что для удобства называется «прабабушкой», будет отсутствовать и не сможет помочь делу, то мои отпрыски, именуемые дядя Берт, Лео, Том, Дуглас и компания, должны взять ответственность на себя.

— Будет сделано, прабабушка.

— Не хочу, чтобы тут завтра закатывались «хэллоуины». Не хочу, чтобы про меня говорили

сладенькие слова. В свое время я все сказала, причем с достоинством. Мне довелось отведать все яства, станцевать все танцы. Остался последний торт, которого я не попробовала, последняя мелодия, которую я не успела насвистеть. Но я не боюсь. Мне даже любопытно. Смерть не лишит меня ни единой крошки, которую я бы не распробовала и не посмаковала. Так что не горюйте обо мне. А теперь все уходите и дайте мне обрести мой сон…

Где-то тихо затворилась дверь.

— Так-то лучше.

Оставшись одна, она с наслаждением погрузилась в теплую белую горку льна и шерсти, простыней и перин, под лоскутное одеяло, пестрое, как цирковые флаги былых времен. Лежа она чувствовала себя крошечной, притаившейся, как восемьдесят с лишним лет назад, когда, просыпаясь, она уютно устраивала в постели свои нежные косточки.

«Давным-давно, — думала она, — мне снился сладкий сон, а когда меня разбудили, оказалось, что в тот день я родилась на свет. А теперь? Что же теперь?»

Она перенеслась мыслями в прошлое.

«На чем я остановилась? — думала она. — Девя-

носто лет… как же вернуться в тот ускользнувший сон?»

Она выпростала свою хрупкую ручку.

— Так… Да, именно так.

Она улыбнулась. Утопая в теплой снежной дюне, она прижалась щекой к подушке. Так-то лучше. Вот теперь он явился ей, вырисовываясь в памяти, спокойно и безмятежно, как морские волны, накатывающие на бесконечный, сам себя омолаживающий берег. Теперь она позволила стародавнему сну прикоснуться к ней, оторвать от снега и увлечь за собой прочь от забытой кровати.

«Внизу, — думала она, — начищают серебро, шуруют в подвале, вытирают в комнатах пыль».

Со всего дома доносились звуки жизни.

— Все в порядке, — прошептала она. — Ко всему можно привыкнуть в этой жизни, к этому тоже.

И море ее унесло.

XXVII

— Привидение! — вскрикнул Том.

— Нет, — ответил голос. — Всего лишь я.

В темную спальню, насыщенную ароматом яблок, лился призрачный свет. Могло померещиться, будто в воздухе висит литровая стеклянная банка и мерцает бесчисленными световыми хлопьями сумеречных оттенков. В этом белесом освещении глаза Дугласа священнодейственно горели бледным огнем. Он настолько загорел, что лицо и руки слились с темнотой, и его ночная сорочка казалась бесплотным призраком.

— Это ж надо! — прошипел Том. — Десятка два-три светлячков!

— Тссс, тихо!

— Зачем тебе столько?

— Нас ведь застукали ночью за чтением с фонариками под одеялом? А старую банку со светлячками никто не заподозрит. Родители подумают, ночной музей.

— Дуг, ты гений!

Но Дуг не ответил. С очень серьезным видом он водрузил мигающий светильник на ночной

столик, взял карандаш и принялся что-то писать в блокноте крупными буквами и длинными строчками. При свечении то вспыхивающих, то угасающих, то вспыхивающих, то угасающих светляков его глаза мерцали тремя десятками бледно-зеленых точек, и он писал заглавными буквами десять минут, двадцать минут, выстраивал и перестраивал, писал и переписывал факты, поспешно собранные им за лето. Том наблюдал, завороженный крошечным костерком из насекомых, прыгающих и сворачивающихся в банке, пока не замер во сне на локте, а Дуглас продолжал записывать. Все это он подытожил на последней странице.

НИ НА ЧТО НЕЛЬЗЯ ПОЛОЖИТЬСЯ,
ПОТОМУ ЧТО…

…вот машины, например: они разваливаются, или ржавеют, или истлевают, а то и вовсе остаются недостроенными… либо под конец жизни оказываются в гаражах…

…или вот теннисные туфли: в них не пробежишь дальше, быстрее какого-то предела, земное притяжение все равно тебя остановит…

…или трамваи: ведь трамвай, какой бы он ни

был большой, всегда приходит на конечную остановку…

НЕЛЬЗЯ ПОЛОЖИТЬСЯ НА ЛЮДЕЙ,
ПОТОМУ ЧТО…

…они уходят.

…незнакомцы умирают.

…те, кого ты знаешь, умирают.

…друзья умирают.

…одни убивают других, как в книжках.

…твои близкие могут умереть.

Значит!..

Он вдохнул, прижав сложенные пригоршней ладони ко рту, и стал выдыхать с медленным шипением, снова сделал вдох и заставил воздух шептать сквозь стиснутые зубы.

ЗНАЧИТ. Он дописал строку крупными заглавными буквами.

ЗНАЧИТ,
ЕСЛИ ТРАМВАИ И АВТО,
ДРУЗЬЯ И ПРИЯТЕЛИ МОГУТ УЙТИ НЕ
НАДОЛГО ИЛИ ПРОПАСТЬ НАВСЕГДА,
ЗАРЖАВЕТЬ ИЛИ РАЗВАЛИТЬСЯ, ЛИБО УМЕРЕТЬ,
ЕСЛИ ЛЮДИ МОГУТ УБИТЬ И ЕСЛИ КТО-НИБУДЬ,
КАК ПРАБАБУШКА,
КОТОРАЯ СОБИРАЛАСЬ ЖИТЬ ВЕЧНО, МОЖЕТ

УМЕРЕТЬ… ЕСЛИ ВСЕ ЭТО ПРАВДА… ТОГДА… Я, ДУГЛАС СПОЛДИНГ, ОДНАЖДЫ… ДОЛЖЕН…

Но светлячки, словно загашенные его тяжелыми мыслями, плавно отключились.

«Все равно я больше не могу писать, — подумал Дуглас. — Я не буду больше писать. Не буду, не буду это дописывать этой ночью».

Он посмотрел на Тома, заснувшего на локте. Он коснулся запястья Тома, и тот рухнул со вздохом, откинувшись на кровать.

Дуглас поднял банку с холодными темными комочками внутри, и прохладные огоньки снова замерцали, словно возвращенные к жизни его рукой. Он поднял банку, и она судорожно засветилась над концовкой его текста. Заключительные слова дожидались, пока их напишут. Но вместо этого он подошел к окну и толкнул раму с сеткой. Он свинтил с банки крышку и высыпал светлячков бледным дождем в безветренную ночь. Они вспомнили про свои крылышки и разлетелись.

Дуглас смотрел им вслед. Они удалялись, как выцветшие лоскуты прощальных сумерек в истории угасающего мира. Они улетали из его рук, как немногие остающиеся крупицы теплой надежды. Они покинули его лицо и его тело, и в пространство внутри его тела проникла тьма.

Они оставили его опустошенным, как банку, которую он машинально взял с собой в постель, пытаясь уснуть…

XXVIII

Каждую ночь она сидела в своем стеклянном саркофаге. Ее тело таяло в карнавальных огнях лета, леденело на призрачных ветрах зимы, чего-то дожидаясь со своей серповидной улыбкой и высеченным, крючковатым пористым восковым носом, маячившим над ее бледно-розовыми и морщинистыми восковыми руками, навечно застывшими над древней колодой раскрытых веером карт. Ведьма Таро. Дивное имечко. Ведьма Таро. Бросишь пенни в серебряную щелочку — и далеко внизу, позади, внутри заурчат шестеренки механизма, заходят рычаги, закрутятся колесики. И, поднимая лоснящуюся личину, из своего футляра ведьма ослепит тебя пронзительным, как игла, взглядом. Ее неумолимая левая рука опускается, поглаживая и растасовывая черепа, чертей, висельников, отшельников, кардиналов и клоунов на загадочных картах Таро, а ее голова маячит вблизи, проникая в твое убожество или убийство, чаяния и здоровье, в твое возрождение по утрам и возврат смерти по ночам. Затем пером она выводит на рубашке карты

паутинки и спускает по желобку тебе в руки. Засим ведьма с последним затухающим мерцанием в глазах снова замирает в своей извечной оболочке на недели, месяцы и годы, дожидаясь, когда же очередной медяк вернет ее из забвения. Теперь, мертвенно-восковая, она с содроганием смотрела на приближение мальчишек.

Пальцы Дугласа отпечатались на стекле.

— Вот она.

— Кукла восковая, — сказал Том. — Почему ты хочешь, чтобы я ее увидел?

— Только и слышно от тебя, — закричал Дуглас. — Почему да почему? Потому!

Потому что… в зале игральных автоматов притушили огни… потому что…

В один прекрасный день ты открываешь, что ты живешь!

Взрыв! Потрясение! Озарение! Восторг!

Ты хохочешь, пускаешься в пляс, кричишь!

Но вскоре солнце закатывается. Валит снег, но никто этого не видит августовским полднем.

В прошлую субботу на утреннем сеансе крутили ковбойские фильмы; на раскаленном добела экране замертво рухнул человек. Дуглас вскричал. Сколько лет кряду он видел, как ковбоев подстреливают, вешают, жгут и изничтожают

миллиардами! Но вот этот человек…

«Он никогда не зашагает, не побежит, не сядет, не засмеется, не заплачет, никогда уже ничего не сделает», — подумал Дуглас. Вот его тело холодеет. Дуглас застучал зубами. Сердце у него в груди перекачивало ледяное крошево. Он смежил веки и позволил судорогам сотрясать его.

Ему нужно было порвать с остальными мальчишками, потому что им и в голову не приходило задуматься о смерти, они просто улюлюкали и гоготали при виде мертвеца, словно он еще был жив. Дуглас и мертвый сидели в лодке и отчаянно работали веслами, бросив остальных позади носиться, скакать, восторгаться движением на ослепительном берегу, не догадываясь, что лодка, мертвый человек и Дуглас удаляются, удаляются, исчезая во тьме. Рыдая, Дуглас побежал в мужской туалет, от которого разило лимоном, где его трижды вырвало, словно из пожарного гидранта.

Дожидаясь, пока пройдет тошнота, он думал: я знаю всех, кто умер этим летом! Полковник Фрилей умер! Раньше я этого не понимал; почему? Прабабушка тоже умерла. Не понарошку, на самом деле. Не только это, но… Он запнулся. Я! Нет, они не могут меня убить! Да, произнес

голос, да, еще как могут, когда им вздумается, хоть брыкайся, хоть верещи, просто прихлопнут тебя лапищей, и ты готов… Я не хочу умирать! — закричал Дуглас. Беззвучно. Тебе придется, напутствовал голос, придется, как ни крути…

За стенами кинотеатра солнце ослепительно освещало немыслимую мостовую, невообразимые дома и людей в замедленном движении, словно на дне сияющего и тяжелого океана горящего чистого газа, и он теперь думал, что пора уже, пора идти домой, дописывать заключительную строку в пятицентовом блокноте: ОДНАЖДЫ Я, ДУГЛАС СПОЛДИНГ, ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ…

Понадобилось минут десять, чтобы набраться смелости и перейти улицу. Его сердце забилось медленнее. И вот аттракционы. Он увидел странную восковую ведьму там, позади, где она всегда пряталась в прохладной пропыленной тени с Парками и Фуриями, прижатыми к ее ногтям. Мимо проехал автомобиль и вызвал вспышку света среди аттракционов; замельтешили тени, и померещилось, будто она быстро-быстро закивала ему, приглашая войти.

Он вошел, откликаясь на призыв восковой ведьмы, и через пять минут вышел, уверенный в том, что выживет. Теперь он должен показать

Тому…

— Кажется, она почти как живая, — сказал Том.

— Она и есть живая, вот, смотри.

Он бросил в щель один пенни.

Ничего не последовало.

Через весь зал Дуглас кликнул мистера Блека, хозяина заведения, устроившегося на поставленном стоймя ящике из-под газировки; тот откупорил бутылку коричневато-желтого пойла, опустошенную на три четверти, и приложился к ней.

— Эй, ведьма барахлит!

Мистер Блек зашаркал с полузакрытыми глазами, и от него разило перегаром.

— Пинбол барахлит, кинетоскоп барахлит, машина «ШАРАХНИ СЕБЯ ТОКОМ ЗА ПЕННИ» — барахлит. — Он стукнул по корпусу. — Эй, там, внутри! Оживай!

Ведьма невозмутимо сидела.

— Ремонт обходится дороже выручки. — Мистер Блек просунул руку за футляр, достал табличку «АВТОМАТ НЕ РАБОТАЕТ» и повесил прямо у нее перед носом. — Если бы барахлила только она. Я, ты, наш город, вся страна и целый свет барахлим! Черт с ней! — Он пригрозил ей кулаком. — Свалка

по тебе плачет, слышишь, на свалку пора! — Он зашагал прочь и уселся на ящик, нащупывая монетки в кармане фартука, словно мучился животом.

— Она не может… не может испортиться, — сказал пораженный Дуглас.

— Она же одряхлела, — сказал Том. — Дедушка говорит, она торчит тут с тех пор, как он был мальчиком, и даже раньше. Так что пора бы ей в один прекрасный день окочуриться и…

— Ну же, — зашептал Дуглас. — Прошу тебя, напиши, чтобы Том увидел!

Он украдкой бросил в машину еще одну монетку.

— Пожалуйста…

Мальчики прижались к стеклу, своим дыханием вырисовывая на нем облака.

Затем из недр ящика послышался шорох и стрекотание.

И голова ведьмы медленно поднялась и взглянула на мальчишек, и от ее взгляда они оцепенели, а ее рука принялась лихорадочно черкать каракули на картах взад-вперед, то замедляясь, то ускоряясь, то возвращаясь. Она склонила голову; одна рука остановилась, а машина содрогнулась от второй пишущей руки; она замерла, снова

начала писать и, наконец, судорожно застопорилась, отчего стекла в витрине задребезжали. В механических муках ведьма опустила лик, стиснув его почти в комок. Затем машина закряхтела, щелкнула зубчиком колеса, и из желобка прямо в ладони Дугласа юркнула карта.

— Она жива! Она заработала!

— Что там на карте написано, Дуг?

— То же, что в прошлую субботу! Вот, послушай…

И Дуглас прочел:

Пум-пурум-пурум-пум-пум!
Кто ищет смерти, тот глупец!
Да как не петь и не плясать
Под погребальный звон?
И как не утопать в вине,
Как не кружиться в танце,
Горланя «тру-ля-ля»,
Когда бушует ветер
И обезумел океан?

Пум-пурум-пурум-пум-пум!

— И это все? — спросил Том.

— Тут еще приписано: «ПРЕДСКАЗАНИЕ: долгая кипучая жизнь».

— Это еще куда ни шло! А мне?

Том опустил монетку. Ведьма заколотилась в конвульсиях. Ему в руку упала карта.

— Кто последний выбежит из аттракционов — тот ведьмина задница, — спокойно проговорил Том.

Они как угорелые промчались мимо хозяина; у того аж дыхание сперло, и он стиснул в одном кулаке сорок пять медных пенсов, а в другом — тридцать шесть.

* * *

Вдали от неуютного света уличных фонарей Дуглас и Том сделали ужасное открытие.

Карта Таро оказалась пустой, никакого послания.

— Невозможно!

— Дуг, не переживай. Просто обычная старая карта. Подумаешь, один пенни потеряли.

— Это не просто обычная старая карта, а жизнь и смерть.

Под трепыхающимся мотыльковым светом на улице Дуглас побелел, как молоко, уставившись на карту, поворачивал, шуршал ею, пытаясь высмотреть на ней хоть какие-то слова.

— Чернила у нее кончились.

— У нее никогда не кончаются чернила!

Он смотрел, как сидящий мистер Блек приканчивает бутылку и чертыхается, ему и невдомек, как ему повезло жить среди аттракционов. «Прошу вас, не дайте аттракционам сгинуть, — думал он. — Мало того, что в реальном мире исчезают друзья, людей убивают и хоронят. Пусть аттракционы живут своей жизнью, как всегда, умоляю, пожалуйста…»

Теперь Дуглас понял, почему игральные автоматы неумолимо влекли его всю неделю и особенно этим вечером. Да потому, что их мир полностью предопределен, предсказуем, надежен, неизменен: блестящие, серебристые щелочки, ужасная горилла за стеклом, вечно пронзаемая восковым героем ради спасения не менее восковой героини, безудержно чирикающие «Копы из Кистона» на нескончаемой кинопленке на роликах, приводимых во вращение монетками с головой индейца при свете оголенной лампы. Копы вечно сталкиваются или вот-вот столкнутся с поездом, грузовиком, трамваем, сваливаются с пристани в океан и не тонут, потому что мчатся, чтобы столкнуться с очередным поездом, грузовиком, трамваем и бултыхнуться с горячо любимой набережной. Миры

в мирах, сеансы на кинетоскопе, которые можно было прокрутить за один пенни и повторить старые обряды и предписания. Стоило пожелать, и братья Райт реяли на пропесоченных ветрах при Китти-Хоук, Тедди Рузвельт скалил ослепительные зубы, Сан-Франциско отстраивался и выгорал, отстраивался и выгорал, столько раз, сколько хватало запотевших монеток, чтобы задобрить самодовольные автоматы.

Дуглас озирался на ночной город, в котором теперь в любую минуту могло случиться что угодно. Здесь, ночью ли, днем, так мало щелочек для монет, так мало карт попадает в твои руки для чтения, и если они прочитываются, как мало в них смысла. Здесь, в мире людей, можно было посвятить время, деньги и молитву, с незначительным возвратом или без оного.

Но здесь, среди аттракционов, можно подержать в руке молнию на электрической машине по прозвищу «ВЗЯЛСЯ — ДЕРЖИСЬ!», разводя в стороны хромированные рукоятки, а в ладони впиваются осиные жала электричества, потрескивают, прошивают дрожащие пальцы. Бьешь по мешку и видишь, сколько сотен фунтов силы у тебя в плече, чтобы врезать по миру, если понадобится. Стисни руку робота и в борьбе с

ним выплесни свою ярость, чтобы загорелись лампочки на пронумерованной шкале, где в доказательство твоего превосходящего насилия на самой верхушке вспыхивает фейерверк.

Среди игральных автоматов делаешь то и это, а происходит так и этак. Уходишь, умиротворенный, как из доселе неведомой церкви.

А теперь? Что же теперь?

Ведьма шевелится, но безмолвно, и, наверное, вскоре умрет в своем хрустальном гробу. Он посмотрел на мистера Блека, который бубнил что-то себе под нос, презирая все миры, даже свой собственный. Однажды утонченные механизмы заржавеют из-за нехватки любви и заботы, «Копы из Кистона» навечно увязнут в озере, и ни туда ни сюда, паровоз вот-вот их стукнет, зацепит; братья Райт так и не смогут оторвать от земли свою парящую машину…

— Том, — сказал Дуглас, — надо посидеть в библиотеке и пораскинуть мозгами.

Они зашагали по улице, передавая из рук в руки ненадписанную белую карту.

* * *

Они сидели в библиотеке при зеленом свете абажуров, потом, хмурые, сидели снаружи на ка-

менном изваянии льва, свесив ноги с его спины.

— Старикашка Блек вечно на нее орет, грозится убить.

— Нельзя убить то, что никогда и не жило, Дуг.

— Он обращается с ведьмой, словно она живая или жила когда-то. Вопит на нее, может, она сдалась. Или, может, вовсе не собирается сдаваться, а пытается тайно предупредить нас, что ей угрожает опасность. Может, чернила невидимые. Лимонный сок. Тут сообщение, она не хотела, чтобы мистер Блек увидел, если бы взглянул, когда мы на аттракционах. Стой-ка! У меня есть спички.

— С какой стати ей нам писать, Дуг?

— Подержи-ка карту. Так! — Дуглас чиркнул спичкой и провел под картой.

— Ай! Слова же не на моих пальцах, Дуг, убери спичку.

— Вот! — вскричал Дуглас.

И действительно, на фоне огня проступали темные, едва различимые каракули, витиеватые буквы… слово, другое, третье…

— Карта горит!

Том вскричал и выронил ее.

— Топни по ней!

Но пока они вскочили, чтобы потопать по

каменному хребту древнего льва, карта превратилась в черную шелуху.

— Дуг! Теперь мы ни за что не узнаем, что там было!

Дуглас держал на ладони теплые чешуйки пепла.

— Нет, я видел слова, я их запомнил.

Пепел шелестел в его пальцах.

— Помнишь комедию с Чарли Чейзом, что мы смотрели прошлой весной, где тонул француз и все верещал по-французски: «Secours, Secours!» А Чарли Чейз не мог понять. И кто-то подсказал ему, что это значит, и тот бросился в воду и спас человека. Я собственными глазами видел на карте «Secours!». Спасите!

— С какой стати ей писать по-французски?

— Чтобы мистер Блек не понял, умник!

— Дуг, когда ты подпалил карту, показался старый водяной знак…

Том увидел выражение на лице Дугласа и запнулся.

— Ладно, ладно, только не бесись. В общем, там было написано то ли «Спалите!», то ли «Спасите!». Ну, или что-нибудь в этом роде. А другие слова?

— Там было написано «Мадам Таро», Том. Теперь я понял. Мадам Таро жила давным-давно.

Предсказательница будущего. Я видел ее портрет в энциклопедии. К ней съезжались со всей Европы. Ну, как ты еще не догадался, Том. Пошевели мозгами!

Том прижался спиной ко льву, глядя вдоль улицы, где проблескивали огни аттракционов.

– *Всамделишная* миссис Таро?

— А какая же еще! В стеклянной витрине, под красными-синими шелками и оплывшим воском! Может, кто-то когда-то ей позавидовал или возненавидел ее, и облил воском, и заточил навечно, и она попадала из рук одного злодея в руки другого, пока не оказалась у нас, в Гринтауне, штат Иллинойс, работая за одноцентовики с головой индейца вместо коронованных голов Европы!

— Мистер Блек злодей?

— Зовут Блек, рубаха, штаны, галстук — все под стать, черное. Киношные злодеи тоже ведь в черное одеты?

— Почему же она не кричала в прошлом году, в позапрошлом?

— Как знать, может, каждый вечер все сто лет она пишет весточки лимонным соком на картах, но все читают ее обычные послания, никому в голову не приходит, как нам, провести пламенем

спички по рубашке карты и высветить настоящее сообщение. Хорошо еще, я знаю, что означает «secours».

— Допустим, она говорит «помогите»! Что дальше?

— Мы спасем ее, конечно.

— Выкрадем из-под носа у мистера Блека, да? А сами обольемся воском и заделаемся ведьмаками в стеклянных ящиках лет этак на тыщу!

— Том, библиотека под боком. Мы вооружимся заклинаниями и зельем для борьбы с мистером Блеком.

— На мистера Блека есть лишь одно зелье, — сказал Том. — Как только у него к вечеру наберется достаточно пенсов, он… ладно, посмотрим.

Том достал из кармана несколько монет.

— Этого должно хватить. Дуг, иди читать книжки, а я побегу обратно и посмотрю раз пятнадцать «Кистонских копов». Мне не надоест. Когда встретишь меня в аттракционах, зелье, наверное, уже начнет работать на нас.

— Том, надеюсь, ты знаешь, что делаешь.

— Дуг, ты хочешь спасти принцессу или нет?

Дуглас подпрыгнул и соскочил со льва.

Том смотрел, как двери библиотеки захлопнулись. Затем перепрыгнул через львиную спину и

нырнул во тьму. Ветер сдул со ступенек библиотеки трепыхавшийся пепел карты Таро.

В зале игральных автоматов было темно. Автоматы для игры в пинбол погасли и загадочно маячили, как запыленные письмена на стенах великановой пещеры. В кинетоскопах Тедди Рузвельт и братья Райт скалили зубы или просто прокручивали деревянный пропеллер. Ведьма сидела в своем футляре, ее восковые глаза были закрыты. Вдруг сверкнул один глаз. Сквозь запыленные окна зала запрыгал луч фонарика. Напротив запертой двери топталась тяжелая фигура, в замке залязгал ключ. Дверь с грохотом распахнулась и не захлопнулась. Послышалось тяжкое дыхание.

— Это я, моя старушка, — сказал мистер Блек, пошатываясь.

Снаружи, проходя по улице, уткнувшись в книгу, Дуглас обнаружил Тома, который прятался неподалеку в каком-то дверном проеме.

— Ш-ш-ш! — сказал Том. — Сработало. «Копы из Кистона» — пятнадцать раз. И когда мистер Блек услышал, что я спустил все деньги, глаза у него забегали, он открыл машину, выгреб монетки, выставил меня, а сам потопал в заведение напротив за колдовским зельем.

Дуглас подкрался, заглянул в сумрачный зал автоматов и увидел две гориллы: одна неподвижно держала в лапах героиню, а другая стояла ошалело, раскачиваясь из стороны в сторону, в центре зала.

— Ах, Том, — прошептал Дуглас, — он до краев напитан колдовским зельем. Ты — гений.

— Можешь повторить. А что ты выяснил?

Дуглас похлопал по книге и сказал приглушенным голосом:

— Мадам Таро, как я и говорил, предсказывала смерть и судьбу в салонах у богачей, но допустила один просчет. Она напророчила Наполеону поражение и смерть прямо ему в лицо! И…

Голос Дугласа упал, стоило ему снова взглянуть в запыленное окно на фигуру, неподвижно сидевшую в отдалении, в своем стеклянном ящике.

— Secours, — пробормотал Дуглас. — Старина Наполеон вызвал восковых дел мастеров от мадам Тюссо, и они плюхнули ведьму Таро живьем в кипящий воск, а теперь… вот…

— Посмотри, Дуг, на мистера Блека! Это у него дубинка, что ли?

И в самом деле. По залу, изрыгая страшные проклятия, рыскала огромная туша мистера Блека. В руке он сжимал нож, лезвие которого рассекало

воздух в шести дюймах от ведьминого носа.

— Он к ней придирается, потому что она единственная во всем этом балагане похожа на человека, — сказал Том. — Ничего он ей не сделает. Он в любую секунду рухнет и будет дрыхнуть мертвецким сном.

— Нет, — возразил Дуглас. — Он знает, что она нас предупредила и мы придем ей на выручку. Ему не хочется, чтобы мы разоблачили его преступную тайну. Поэтому сегодня ночью он попытается покончить с ней раз и навсегда.

— Как он мог узнать, что она нас предупредила? Мы и сами-то не знали, пока не ушли отсюда.

— Он вынудил ее признаться, набросал монеток в машину; карты со всеми этими черепами да костями от Таро не могут врать. Она не может не сказать правду и наверняка выдала ему карту с двумя маленькими рыцарями, ростом с ребенка каждый, понимаешь? Это мы. С дубинками. Идем по улице.

— В последний раз! — вопил мистер Блек из пещеры. — Бросаю монету. В последний раз тебя спрашиваю! Будут эти чертовы аттракционы приносить прибыль или я объявляю себя банкротом? Как все женщины, расселась тут, рыба мороженая, а человек голодает! Давай сюда кар-

ту! Так! Что тут у тебя.

Он поднес карту к свету.

— Какой ужас! — прошептал Дуглас. — Приготовились.

— Нет! — заорал мистер Блек. — Врешь! Врешь! Получай!

Он пробил кулаком витрину. Стекло рассыпалось звездным дождем и исчезло в темноте. Ведьма сидела, беззащитная на открытом воздухе, спокойная и сдержанная, дожидаясь второго удара.

— Нет! — Дуглас рванулся в дверь. — Мистер Блек!

— Дуг! — вскричал Том.

Мистер Блек обернулся на крик Тома. Слепо занес в воздухе нож, словно для удара. Дуглас остолбенел. Затем с широко раскрытыми глазами, моргнув, мистер Блек повернулся в аккурат так, что рухнул навзничь на пол, и, казалось, падение длилось тыщу лет, пока из правой руки не отлетел фонарик, а нож стремглав — из левой, как серебристая рыба.

Том медленно подобрался, чтобы посмотреть на фигуру, распростертую во весь рост в темноте.

— Дуг, он что, помер?

— Нет, просто потрясен предсказаниями мадам

Таро. Ну и видок у него. Карты — страшная сила.

Мистер Блек уснул шумным сном на полу.

Дуглас подобрал рассыпанные карты Таро, сунул дрожащими пальцами в карман.

— Ну же, Том, давай вытащим ее отсюда, пока не поздно.

— Похитить ее? Да ты с ума сошел!

— А тебе хочется быть виновным в пособничестве еще более тяжкому преступлению?

— Что ты несешь? Старое чучело убить невозможно!

Но Дуг не слушал. Он просунулся в открытую витрину, и вот, словно она ждала столько лет, восковая Ведьма Таро с шелестящим вздохом подалась вперед и медленно-медленно упала в его объятья.

* * *

Городские часы пробили без четверти десять. Луна в вышине наполнила воздух теплым, но мертвенным светом. Тротуар превратился в литое серебро, по которому двигались черные тени. Дуглас шагал с предметом из бархата и волшебного воска в руках, останавливаясь в островках тени трепещущих деревьев, один. Он прислушивался, оглядываясь назад. Шорох мышиной возни. Из-за

угла вылетел Том и притормозил рядом с ним.

— Дуг, я отстал. Я боялся, что мистер Блек того… короче, потом он стал оживать… ругался… Дуг, если он поймает тебя со своим чучелом… А что подумает наша родня? Воровство!

— Тихо!

Они прислушались к залитому лунным светом руслу улицы у себя за спиной.

— Слушай, Том, ты можешь помочь мне спасти ее, но если будешь про нее говорить «чучело», тогда лучше не надо; и не говори так громко, и не волочись за мной мертвым грузом.

— Я помогу! — Том взял на себя половину веса. — Э-э, да она легкая.

— Она была очень молодая, когда Наполеон… — Дуглас запнулся. — Старые люди тяжелые. Вот как можно узнать.

— Но скажи мне, зачем вся эта беготня и суета вокруг нее, Дуг? Для чего?

Для чего? Дуглас заморгал и остановился. Все произошло так быстро. Он забежал так далеко, что кровь закипела, а он уже давно забыл для чего. Только сейчас, когда они снова пустились в путь по тротуару, с тяжелым духом пыльного воска на руках, тени трепетали, словно черные бабочки на веках, у него появилось время по-

размыслить и без спешки поговорить голосом, отчужденным, как лунный свет:

— Том, пару недель назад я открыл, что живу. Ах, как же я запрыгал от радости! А потом, на прошлой неделе, в кино я открыл, что однажды мне придется умереть. Я никогда об этом по-настоящему не задумывался. И вдруг выясняется. Это все равно что узнать, что Ассоциация христианской молодежи или школа закрывается навсегда, что само по себе не так уж плохо, как нам нравится думать, если действительно раз и навсегда, и все персиковые деревья за городом стали бесполезными, и кишмя кишащий овраг, и уже играть в нем больше не хочется, и я в постели долго-долго, и всюду тьма, и я испугался. Так что даже не знаю; я вот что сделаю: помогу мадам Таро. Я спрячу ее на несколько недель или месяцев, пока буду изучать книги по черной магии в библиотеке, узнаю, как снимать порчу и высвободить ее из воска, чтобы она снова вышла в большой мир. И она будет мне благодарна, она разложит карты с дьяволами и кубками, мечами и костями и скажет мне, какие выгребные ямы обходить стороной, по каким четвергам отсиживаться дома. Я буду жить вечно, ну, или почти.

— Ты сам в это не веришь.

— Верю, ну, или по большей части. Смотри, овраг. Мы срежем по свалке и…

Том остановился. Дуглас его остановил. Они не стали оборачиваться, а услышали за спиной грузные, громыхающие шаги, каждый как выстрел на дне пересохшего озера, что неподалеку. Кто-то кричал и ругался.

— Том, он тебя выследил!

На бегу гигантская ручища оторвала их от земли и отшвырнула в сторону, и пока мистер Блек перекатывался с левого бока на правый, мальчики кричали на траве, глядя на бесноватого человека, брызжущего слюной сквозь скрежещущие зубы и округленные губы. Он схватил ведьму за шею и плечо и пожирал горящими глазами мальчишек.

— Моё!!! Что захочу, то и сделаю!!! Ишь ты, слямзить вздумали!!! Из-за нее все мои беды — деньги, бизнес, все. Вот что я про нее думаю!!!

— Нет!!! — возопил Дуглас.

Но, подобно большущей железной катапульте, мощные лапищи запустили фигуру к луне, с размаха отправили хрупкое тельце к звездам, чтобы летела с проклятьем вдогонку на шелестящем ветру прямиком в овраг, чтобы там грохнуться и увлечь за собой лавины мусора навстречу беле-

сой пыли и золе.

— Нет!!! — сидя, кричал Дуглас, заглядывая в овраг. — НЕТ!!!

Верзила споткнулся на краю оврага, тяжко пыхтя.

— Скажите спасибо, что я с вами этого не сделал.

Нетвердой походкой он заковылял прочь, падая, поднимаясь, бормоча себе что-то под нос, хохоча и бранясь, пока не исчез из виду.

Дуглас сел на край оврага и заплакал. Наконец он высморкался. Взглянул на Тома.

— Том, уже поздно. Папа, наверное, вышел нас разыскивать. Мы должны были быть дома час назад. Беги по Вашингтон-стрит, найди папу и приведи сюда.

— Ты что, собрался спускаться в овраг?

— Ведьма теперь — городская собственность на свалке, и никому нет до нее дела, даже мистеру Блеку. Скажи папе, для чего нужно, чтобы он пришел сюда, и не стоит, чтобы его видели по дороге домой со мной и с ней. Я отнесу ее домой в обход, и никто ничего не узнает.

— Теперь уже она тебе не пригодится, все ее механизмы разбиты.

— Нельзя бросать ее под дождем, как ты не

понимаешь, Том?

— Конечно.

Том медленно зашагал прочь.

Дуглас спускался по склону холма, среди куч золы, старой бумаги и консервных банок. На полпути он остановился и прислушался. Всмотрелся в пестрый мрак, в гигантский оползень под ним.

— Мадам Таро? — почти прошептал он. — Мадам Таро?

У подножия холма, в лунном свете ему привиделось шевеление белой восковой руки. Это колыхался обрывок белой бумаги, но он все равно двинулся к нему…

* * *

Городские часы пробили полночь. В домах погасили свет. В гараже два мальчика и взрослый отступили на шаг от ведьмы, усаженной на старый плетеный стул, собранной, умиротворенной, перед накрытым промасленной тряпкой карточным столиком, а на нем фантастическими веерами были разложены понтифики и клоуны, кардиналы и смерти, солнца и кометы, к которым прикасалась восковая рука.

Папа говорил:

— …знаю, как это бывает. В детстве, когда

цирк уезжал из города, я бегал повсюду, собирая миллионы афиш. Потом я увлекся разведением кроликов и магией. Я строил иллюзии на чердаке, а потом не мог от них избавиться. — Он кивнул на ведьму. — О, я помню, как-то, лет тридцать назад, она предсказала мне будущее. Ладно, приведите ее в порядок и — спать. В субботу мы соорудим для нее особый футляр.

Он вышел из дверей гаража, но остановился, когда тихо заговорил Дуглас:

— Спасибо, папа, что проводил нас до дому. Спасибо.

— Да не за что, — сказал папа и исчез.

Двое мальчуганов, оставшись наедине с ведьмой, переглянулись.

— Только подумай, по главной улице мы шагаем вчетвером, ты, я, папа и ведьма! Такого папы и на миллион не сыщется!

— Завтра, — сказал Дуглас, — я пойду и выкуплю у мистера Блека остатки автомата за десять долларов, пока он их не выбросил.

— Правильно, — Том поглядел на старуху на плетеном стуле. — Ей-богу, как живая. Интересно, что у нее внутри.

— Крошечные птичьи косточки. Все, что осталось от мадам Таро после Наполеона…

— Как, без механизма? А может, разрежем ее и посмотрим?

— Успеем еще, Том.

— Когда же?

— Ну, через год, два. Когда мне будет четырнадцать, пятнадцать. Тогда и настанет пора. А сейчас я не хочу ничего знать, главное, что она здесь. А завтра я поработаю над заклинаниями, чтобы она могла улизнуть навсегда. Однажды вечером ты услышишь, что в городе появилась нездешняя красавица итальянка в летнем платьице, которая покупала билет на Восток, и все видели ее на станции, и на поезде, когда тот отошел, и все говорили в один голос, что прелестнее ее нет на свете. Так вот, ты услышишь это, Том, поверь мне, вести разлетаются быстро! Никто не будет иметь понятия, откуда она взялась, куда упорхнула, и только ты будешь знать, что я снял с нее заклятие и освободил. А потом, как я и сказал, спустя год, другой, в ту ночь, когда отойдет поезд, настанет пора разрезать воск. После того, как она укатит, у нее внутри ты не найдешь ничего, кроме зубчиков и колесиков и всяких там винтиков и шпунтиков. Так-то.

Дуглас поднял ведьмину руку, бледную, как выбеленная кость, и провел ею над круговертью

жизни и проказами смерти, датами и судьбами, роком и безрассудством, постукивая, касаясь, шурша ее истертыми ногтями. Ее лицо наклонилось, поддерживая какое-то неведомое равновесие, и взглянуло на мальчиков, в резком свете фонарика сверкнули ее немигающие глаза.

— Хочешь, предскажу тебе будущее, Том? — тихо спросил Дуглас.

— Еще бы.

Из объемистого рукава ведьмы вывалилась карта.

— Том, ты видел? Спрятанная карта. И теперь она выбрасывает ее нам!

Дуглас поднес ее к свету.

— Чистая. Я положу ее на ночь в коробок с химикалиями. Завтра откроем, а там — послание.

— Что там будет сказано?

Дуглас смежил веки, чтобы получше разглядеть слова.

— Там будет сказано: «Покорно благодарю, признательная вам мадам Флористан Мариани Таро, хиромант, врачевательница душ, всевидящая предсказательница судеб и фатумов»[24].

Том рассмеялся и потянул брата за руку.

---

[24] Сноски: 24

История «мадам Флористан Мариани Таро» — чистейшая выдумка Дугласа.

— А что еще, Дуг, что еще?

— Так, посмотрим… И там будет сказано: «Пум-пурум-пурум-пурум-пум-пум!.. Да как не петь и не плясать… под погребальный звон? Как не кружиться в танце, горланя «Тру-ля-ля»!» И еще там будет сказано: «Том и Дуглас Сполдинг, все, чего ни пожелаете, будет вам дано, всю вашу жизнь…» И будет написано, что мы, ты да я, будем жить вечно, Том, мы будем жить вечно…

— И все это на одной карте?

— Все, до последней буковки, Том.

Голова ведьмы опущена. При свете лампочки они, двое мальчиков, нагнули головы, разглядывая и разглядывая прекрасную чистую, но многообещающую белую карту. Их горящие глаза видят все до единого потаенные слова, которые вскоре восстанут из тусклого забвения.

— Эй, — сказал Том тончайшим голоском.

И Дуглас откликнулся неповторимым шепотом:

— Эй…

XXIX

В полдень под буйно зеленеющими деревьями звучал еле слышный голос.

— ...девять, десять, одиннадцать, двенадцать...

Дуглас медленно передвигался по лужайке.

— Том, что ты считаешь?

— ...тринадцать, четырнадцать, заткнись, шестнадцать, семнадцать, цикад, восемнадцать, девятнадцать!..

— Цикад?

— А-а, черт! — Том раскрыл глаза. — Черт, черт, черт!

— Лучше бы никто не слышал, как ты чертыхаешься.

— Черт, черт, черт! — вскричал Том. — Теперь все заново придется начинать. Я считал, сколько раз цикада жужжит каждые пятнадцать секунд.

Он поднял свои двухдолларовые часы.

— Засекаешь время, прибавляешь тридцать девять и получаешь температуру воздуха в данный момент.

Он посмотрел на часы, зажмурив глаз, наклонил голову и снова зашептал:

— Раз, два, три!..

Прислушиваясь, Дуглас медленно поворачивал голову. Где-то в раскаленном небе цвета слоновой кости кто-то ударил по гигантской натянутой медной струне. Опять и опять пронзительные металлические содрогания, как разряды электричества, падали ошеломительными ударами с оцепенелых деревьев.

— Семь! — считал Том. — Восемь.

Дуглас не спеша поднялся по ступенькам веранды. Нехотя заглянул в коридор. Побыл там с минуту, потом неторопливо вернулся на веранду и слабым голосом позвал Тома.

— Ровно восемьдесят семь градусов по Фаренгейту[25].

— …двадцать семь, двадцать восемь…

— Эй, Том, ты слышишь?

— Слышу… тридцать, тридцать один! Сгинь! Два, тридцать три-четыре!

— Можешь заканчивать считать, на комнатном термометре восемьдесят семь, и еще будет повышаться, и без всяких там кузнечиков.

— Это цикады! Тридцать девять, сорок! А не кузнечики! Сорок два!

---

[25] Сноски: 25
87 °F = 30,5 °C.

— Восемьдесят семь градусов. Я думал, тебе интересно.

— Сорок пять, так это же внутри, а не снаружи! Сорок девять, пятьдесят, пятьдесят один! Пятьдесят два, пятьдесят три! Пятьдесят два, пятьдесят три плюс тридцать девять будет… девяносто два градуса!

— Кто сказал?

— Я сказал! Не восемьдесят семь по Фаренгейту, а девяносто два градуса по Сполдингу!

— Ты сказал, а кто еще?

Том вскочил с разгоряченным лицом, уставившись на солнце.

— Я и цикады, вот кто! Я и цикады! Ты в меньшинстве! Девяносто два, девяносто два, девяносто два градуса по Сполдингу, так что утрись!

Они стояли оба, глядя в безжалостное безоблачное небо, подобное сломанному фотоаппарату, который пялится с раскрытым раствором на обездвиженный и оглушенный город, погибающий в жгучем поту.

Дуглас смежил веки и увидел два обезумевших солнца, пляшущих на оборотной стороне розоватых просвечивающих век.

— Раз… два… три…

Дуглас почувствовал шевеление своих губ.

— …четыре… пять… шесть…
Теперь уже цикады запели еще быстрее.

XXX

С полудня до заката, с полуночи до рассвета одного человека, одну лошадку и один фургон узнавали все двадцать шесть тысяч триста сорок девять жителей Гринтауна, штат Иллинойс.

Среди бела дня, без видимой причины, дети замирали со словами:

— Вот — мистер Джонас!

— Вот — Нед!

— А вот — фургон!

Те, кто постарше, вглядывались в север и юг, восток и запад, но не находили никаких признаков человека по имени Джонас, лошади по кличке Нед или фургона индейцев конестога, бороздившего прерии, чтобы высадиться на девственные берега.

А если позаимствовать ухо у собаки и настроить на высокий лад и туго растянуть, то можно было услышать на мили и мили вокруг пение, словно раввин поет в Земле обетованной, муэдзин на башне минарета. Голос мистера Джонаса всегда летел впереди него, чтобы горожанам хватило получаса, часа подготовиться к его прибытию.

И ко времени появления фургона на обочинах дети выстраивались, как на парад.

Итак, приближался фургон, и на высоком сиденье под оранжевым зонтом восседал поющий мистер Джонас, в мягких руках которого поводья струились, словно ручейки.

Хлам! Барахло!
Что вы, сэр! Не хлам!
Утиль! Старье!
Нет, мэм, не старье!
Банки, бутылки!
Склянки, обрывки!
Лоскуты, осколки!
Ржавые иголки!
Лом и обломки!
Барахло и хлам?
Нет, не барахло!
И вовсе не хлам!

Всякий, кто слыхивал песенки, сочиненные проезжающим мимо мистером Джонасом, знал, что он не заурядный старьевщик. Хотя на вид, конечно: зеленые, как мох, вельветовые лохмотья, нахлобученная на голову фетровая шляпа, уты-

канная предвыборными значками времен битвы при Манильской бухте[26]. Но не в этом заключалась его необычайность: он ездил не только под солнечными лучами; нередко его с лошадкой видели плывущими по залитым лунным светом улицам, кружащими в ночи по островкам-кварталам, где проживали все, кого он знавал всю свою жизнь. И в этом фургоне он возил вещи, подобранные тут и там, день, неделю, год тому назад, пока они не понадобятся кому-нибудь. Достаточно было сказать: «Мне нужны эти часы» или «А как насчет этого матраса?» И Джонас расставался с ними, денег не брал и уезжал восвояси, придумывая слова к новой мелодийке.

Бывало, он оказывался единственной живой душой во всем Гринтауне в три часа ночи, и нередко люди, страдавшие головной болью, при виде Джонаса в фургоне, запряженном семенящей лошадкой, выбегали узнать, не найдется ли у него аспирину, который у него имелся. Не раз бывало, он принимал роды в четыре утра, и только тогда люди обращали внимание на то, что пальцы и ногти-то у него невообразимо чисты, что эти руки принадлежат состоятельному человеку,

[26] Сноски: 26

Сражение в ходе испано-американской войны между американской и испанской эскадрами 1 мая 1898 года.

который где-то вел иную жизнь, а где — никто не догадывался. Иногда он подвозил людей на работу до центра, иногда, если кого-то мучила бессонница, он поднимался к нему на веранду со своими сигарами и просиживал с ним до рассвета за куревом и разговорами.

Кто бы он ни был, и что бы он из себя ни представлял, и каким бы чудаковатым или чокнутым ни казался, он не был сумасшедшим. Как он сам нередко вежливо объяснял, много лет тому назад ему надоело предпринимательство в Чикаго, и он огляделся по сторонам, чтобы найти себе занятие до конца своих дней. Он на дух не переносил церковь, хотя уважал ее идеи. Имея склонность к проповедничеству и распространению знаний, он купил лошадь и фургон и приготовился провести остаток жизни, заботясь о том, чтобы одна часть города могла бы воспользоваться тем, что отринула другая его часть. Он считал себя частью явления, подобного осмосу, в результате которого выравниваются концентрации, и, аналогично этому, различные культуры в пределах городской черты становились доступны друг для друга. Он терпеть не мог расточительства, ибо знал: то, что для одного хлам, для другого — роскошь.

Поэтому взрослые и особенно дети вставали на

цыпочки, чтобы заглянуть в большую сокровищницу фургона.

— Запомните, — говорил мистер Джонас, — вы можете взять все, что пожелаете, если только вам этого очень хочется. Спросите себя для самопроверки: «Жажду ли я иметь эту вещь всей душой? Смогу ли я прожить без нее до конца дня?» Если вы почувствуете, что умрете до заката солнца, хватайте эту штуковину и бегите. Я буду рад отдать ее вам, что бы это ни было.

И дети копались в необъятных кучах пергамента и парчи, обоев в рулонах и мраморных пепельниц, жилетов и роликовых коньков, раздутых мягких кресел, журнальных столиков и хрустальных люстр. Доносился шепот, грохот и звон. Удобно устроившись, мистер Джонас поглядывал, попыхивая трубкой, и дети знали, что он присматривает за ними. Иногда их руки тянулись к набору шашек или к бусам, к старому стулу. И стоило им прикоснуться к чему-то, как они поднимали глаза на мистера Джонаса, который смотрел на них мягким испытующим взглядом. И они отдергивали руку и продолжали поиски. Наконец каждый из них притрагивался к одной вещице и уже не отнимал руку. Их лица озарялись, и на этот раз озарение оказывалось

настолько ярким, что мистер Джонас начинал смеяться. Он прикрывал глаза рукой, словно хотел заслониться от сияющих лиц. Он прикрывал глаза на мгновение. Когда он это делал, детвора с визгом благодарила его, хватала свои роликовые коньки, изразцы или зонтики и, спрыгнув с фургона, улепетывала.

Потом дети возвращались и приносили какую-нибудь свою вещицу, куклу или игру, надоевшую им, или нечто, утратившее свое обаяние, как лишенная аромата жвачка, а теперь была пора передать это в другую часть города, где, будучи увиденной впервые, вещь омолодится и омолодит остальных. Эти предметы на обмен робко бросали через борт фургона в гущу сокровищ, и фургон катил дальше, отбрасывая блики света большими спицами колес-подсолнухов, и мистер Джонас снова заводил свою песенку…

Хлам! Барахло!
Что вы, сэр! Не хлам!
Утиль! Старье!
Нет, мэм, не старье!

Пока он не исчезал из виду, и только собаки в островках тени под деревьями слышали зов раввина в пустыне и дергали хвостами…

— …хлам… — Затухает.
— …барахло… — Шепотком.
— …старье… — Исчез.
И собаки засыпали.

XXXI

Всю ночь по тротуарам шныряли пылевые призраки, которые пышущий печным жаром ветер призывал к себе, вскручивая вверх и бережно опуская теплыми пряностями на лужайки. Деревья, встревоженные шагами полуночников, стряхивали с себя лавины пыли. С полуночи, казалось, некий вулкан за городом осыпал все вокруг раскаленным докрасна пеплом. Он оседал коростой на недреманных ночных сторожах и раздраженных собаках. Каждый дом превратился в желтый чердак, внезапно вспыхивающий в три часа ночи.

В рассветную пору все изменялось. Воздух беззвучно мчался в никуда, как вода в горячем источнике. Озеро превращалось в водоем неподвижного и глубокого пара, зависало над долинами, полными рыбы и песка, что пеклись под невозмутимым туманом. Битум растекался по мостовым, как лакрица. Красный кирпич превращался в медь и золото, крыши побронзовели. Высоковольтные провода вечно натянутыми молниями горели, угрожая сверху бессонным

домам.

Цикады пели все громче и громче.

Солнце не всходило, а переливалось через горизонт.

У себя в комнате, на своей кровати, Дуглас кипел и таял с лицом, покрытым потом.

— Ничего себе, — изумился Том, входя. — Идем, Дуг. Будем вымокать весь день в реке.

Дуглас выдыхал. Дуглас вдыхал. Пот катился ручейками по его шее.

— Дуг, ты что, спишь?

Незаметный кивок.

— Ты что, неважно себя чувствуешь? Наш дом сегодня сгорит дотла. — Он потрогал лоб Дугласа. Это было все равно что прикоснуться к дверце раскаленной печи. Он ошеломленно отдернул пальцы. Повернулся и побежал вниз.

— Мам, — сказал он, — Дуг, кажется, не на шутку заболел.

Мама, доставшая яйца из ледника, остановилась, по ее лицу промелькнула тревога. Она положила яйца обратно и пошла наверх за Томом.

Дуглас даже пальцем не шевельнул.

Цикады истошно кричали.

* * *

В полдень у веранды остановился автомобиль доктора; он примчался так быстро, словно солнце гналось за ним, чтобы раздавить об землю. Доктор взошел на веранду, тяжело дыша, с уже усталыми глазами, и вручил свой саквояж Тому.

В час дня доктор вышел из дому, качая головой. Том с мамой стояли за москитной сеткой, пока доктор говорил приглушенным голосом, повторяя, что он не знает, не знает… Он нахлобучил свою панаму, взглянул на солнечные лучи, обжигающие и высушивающие кроны деревьев над головой, постоял в нерешительности, как и всякий, кому предстоит нырнуть в адские пределы, и снова побежал к своей машине. После того, как он уехал, выхлопы сизого дыма еще минут пять висели погребальным покровом в дрожащем воздухе.

Том взял на кухне нож для колки, нарубил фунт кубиков льда и отнес наверх. Мама сидела на кровати, и единственные звуки в комнате издавал Дуглас, который вдыхал пар и выдыхал пламя. Они обложили его лоб и тело льдом в носовых платках. Они опустили шторы и превратили комнату в пещеру. Они просидели до двух часов,

принося все больше льда. Потом потрогали лоб Дугласа, а он был как лампа, не выключенная на ночь. После прикосновения к нему хотелось посмотреть на свои пальцы и убедиться, что они не прогорели до кости.

Мама открыла рот, чтобы заговорить, но цикады так раскричались, что с потолка осыпалась пыль.

* * *

В оболочке красноты и слепоты Дуглас лежал, прислушиваясь к глухому поршеньку своего сердца и мутным приливам и отливам крови в своих руках и ногах.

Губы отяжелели и не двигались. Мысли отяжелели и едва ворочались, словно медлительные песчинки в песочных часах. Одна… Потом другая… Тик… Так.

По сверкающему стальному изгибу рельс заворачивал трамвай, рассыпающий шлейф шипящих искр, десять тысяч раз звонил голосистый колокол, пока не слился с цикадами. Мистер Тридден помахал рукой. Трамвай свернул за угол, стремительно, как пушечное ядро, и исчез. Мистер Тридден!

Тик… Упала песчинка. Так.

— Чу-чу-чу-дзинь! Уууууу!

На крыше ехал мальчик. Он тянул за невидимый тросик свистка. Затем превратился в изваяние.

— Эй, Джон! Джон Хафф! Ненавижу тебя, Джон! Джон, мы друзья! Я не держу на тебя зла. Нет!

Джон упал в коридор из вязов, как в бесконечный колодец лета, исчезая из виду.

Тик… Джон Хафф… Так. Зернышко песка упало. Тик. Джон…

Дуглас положил на подушку голову, вдавив ее в ужасающе ослепительную белизну.

Дамы проплывали в Зеленой машине под тюленье рявканье клаксона, подняв руки, белые, как голуби. Они утопали в глубоких водах лужайки, белые перчатки все еще махали ему по мере того, как над ними смыкались травы…

Мисс Ферн! Мисс Роберта!

Тик… Так…

Затем сразу за ними из окна по ту сторону улицы выглянул полковник Фрилей с лицом-циферблатом и бизоньей пылью, клубящейся по улице. Полковник Фрилей загремел и задребезжал, челюсть отвалилась, и из нее выскочила пружина и заболталась в воздухе вместо языка. Он рухнул, как марионетка, все еще помахивая

одной рукой…

Мистер Ауфман проехал мимо на чем-то сверкающем, как трамвай и зеленый электрокар; и за ним тянулись прекрасные облака, и оно слепило глаза, как солнце.

— Мистер Ауфман! Ну как, изобрели? — прокричал он. — Построили, наконец, Машину счастья?

Но потом он увидел, что у машины нету дна. Мистер Ауфман бежал по земле, взвалив на плечи всю эту несусветную конструкцию.

— Счастье, Дуг, вот оно, счастье!

И он исчез в том же направлении, что и трамвай, Джон Хафф и дамы с голубиными пальчиками.

Постукивание по крыше. Тук-тук-тук. Пауза. Тук-тук-тук. Молоток и гвоздь. Гвоздь и молоток. Птичий хор. Пожилая женщина поет ломким, но задушевным голосом.

Да, мы соберемся у реки… реки… реки…

Да, мы соберемся у реки…

Что несет свои воды мимо божьего трона…

— Бабушка! Прабабушка!

Тук — мягко — тук. Тук — мягко — тук.

— …у реки… у реки…

А теперь всего лишь птички поднимали и опускали свои лапки на кровлю. Скрип-скрип. Тив-тив. Нежно, нежно.

— …у реки…

Дуглас сделал вдох и сразу выдохнул со стоном.

Он не услышал, как его мама вбежала в комнату.

Муха, как тлеющий сигаретный пепел, упала на его бесчувственную руку, обожглась и улетела прочь.

* * *

Четыре часа пополудни. На тротуаре — дохлые мухи. Собаки в своих конурах как мокрые тряпки. Толчея теней под деревьями. Магазины в центре города закрыты, их двери заперты. Берег озера пуст. Тысячи людей в озере плещутся по горло в теплой, умиротворяющей воде.

Четверть пятого. По кирпичным мостовым города катится фургон со старьем, и в нем на козлах сидит мистер Джонас и распевает песни.

Том, изгнанный из дому страдальческим выражением на лице Дугласа, медленно подошел к бордюру, у которого остановился фургон.

— Здравствуйте, мистер Джонас.

— Привет, Том.

Том и мистер Джонас были одни на улице, и хотя внутри фургона было полно восхитительного хлама, но ни один из них даже не взглянул на него. Мистер Джонас сразу ничего не стал говорить. Он раскурил свою трубку, кивая, словно знал, еще не спрашивая, что что-то неладно.

— Ну как дела, Том? — сказал он.

— Мой брат, — сказал Том. — Дуг.

Мистер Джонас посмотрел на дом.

— Заболел, — сказал Том. — Он умирает!

— Нет, быть такого не может, — сказал мистер Джонас, озираясь на внешний мир, в котором не оказалось ничего, даже смутно напоминающего смерть в этот тихий денек.

— Он умирает, — повторил Том. — И доктор не знает, что с ним стряслось. Он говорит, жара. Но, мистер Джонас, разве так бывает? Чтобы жара убивала, причем в затемненной комнате?

— Ну… — произнес мистер Джонас и запнулся.

Потому что Том заплакал.

— Я всегда думал, что терпеть его не могу… вот, что я думал… мы тузим друг друга чуть не все время… иногда я его ненавижу… но теперь… теперь. О, мистер Джонас, если бы только…

— Если бы только что, малыш?

— Если бы в вашем фургоне нашлось что-нибудь такое, что могло бы помочь, чтобы я отнес наверх и ему бы полегчало.

Том снова всхлипнул.

Мистер Джонас достал свой красный платок-бандану и протянул Тому. Том вытер платком нос и глаза.

— Лето выдалось тяжелое, — сказал Том. — С Дугом много чего приключилось.

— Выкладывай, — попросил старьевщик.

— Ну, — начал Том, хватая воздух ртом, с непросохшими глазами, — во-первых, он потерял любимого друга, верный товарищ был, а не обыкновенный приятель. Мало того — кто-то стянул у него бейсбольную перчатку, за доллар девяносто пять. По-глупому он отдал свою коллекцию окаменелостей и ракушек Чарли Вудмену в обмен на глиняного Тарзана, которого дают, если пришлешь стопку купонов от макаронных коробок. И уронил этого Тарзана на следующий же день на тротуар.

— Вот досада, — сказал старьевщик и явственно увидел все обломки на цементе.

— К тому же ему не подарили на день рождения книгу магических фокусов, а лишь штаны и рубашку. Только этого достаточно, чтобы испор-

тить лето раз и навсегда.

— Родители иногда забывают, как сами были детьми, — сказал мистер Джонас.

— Это точно, — тихо согласился Том. — Потом Дуг оставил на ночь во дворе набор настоящих кандалов из лондонского Тауэра, и они заржавели. И самое худшее, я подрос на целый дюйм и почти его догнал.

— Это все? — тихо спросил старьевщик.

— Я бы мог вспомнить еще с дюжину всего плохого, а то и похуже. Иногда лето может сыграть такую шутку. Сороконожки залезли в коллекцию его комиксов, новые тенниски отсырели, как только у Дуга начались каникулы.

— Помню такие годы, — сказал старьевщик.

Он поднял глаза на небо, и все эти годы там проступили.

— Такие дела, мистер Джонас. Вот почему он умирает…

Том замолк и отвел глаза.

— Дай-ка подумать, — сказал мистер Джонас.

— Вы можете помочь, мистер Джонас? Можете?

Мистер Джонас внимательно изучил недра большого старинного фургона и покачал головой. Сейчас, под солнцем, его лицо выглядело утом-

ленным, и на нем начал проступать пот. Затем он уставился на горы вазочек и линялых абажуров, мраморных нимф и сатиров из зеленеющей меди. Он вздохнул. Повернулся и взял поводья, слегка натянув их.

— Том, — сказал он, глядя на спину лошади. — Мы увидимся попозже. Мне нужно поразмыслить. Я осмотрюсь и вернусь после ужина. Тогда кто знает? До скорого…

Он опустил руку и выудил небольшую связку японских кристаллов ветра.

— Повесь их наверху, у брата на окне. Они играют приятную прохладную музыку!

Том стоял с кристаллами ветра в руках, глядя на отъезжающий фургон. Он поднял их, но ветра не было. Они не шевелились. Они никак не могли зазвенеть.

* * *

Семь часов. Город напоминал огромную жаровню, над которой содрогался жар, приносимый с запада. Каждый дом и дерево отбрасывали дрожащие угольно-черные тени. Под ними шагал рыжеволосый мужчина. Поглядев на него, озаренного умирающим, но безжалостным солнцем, Том увидел гордо несущий сам себя факел, ог-

ненного лиса, дьявола, вышагивающего по своей вотчине.

В семь тридцать миссис Сполдинг вышла на задний двор, чтобы выбросить арбузные корки в мусорное ведро, и увидела мистера Джонаса.

— Как мальчик? — поинтересовался мистер Джонас.

Миссис Сполдинг постояла мгновение с дрожащим ответом на устах.

— Можно мне его увидеть? — спросил мистер Джонас.

Она не нашлась что сказать.

— Я хорошо знаю мальчика, — сказал он. — Я вижу его чуть не каждый день со дня, когда он научился ходить и стал бегать по улицам… У меня в фургоне кое-что для него припасено.

— Он… — она хотела сказать «без сознания», но вместо этого сказала: — Не пробудился, мистер Джонас. Доктор сказал, что его нельзя тревожить. О, мы не знаем, чем он болен!

— Даже если он не пробудился, — сказал мистер Джонас, — я бы хотел поговорить с ним. Иногда услышанное во сне важнее, лучше доходит и лучше усваивается.

— Извините, мистер Джонас, я не могу рисковать. — Миссис Сполдинг взялась за ручку

москитной сетки и вцепилась в нее. — Спасибо. Спасибо, что зашли.

— Да, мэм, — сказал мистер Джонас.

Он не двигался. А стоя глядел на окно наверху. Миссис Сполдинг зашла в дом и захлопнула москитную сетку.

Наверху, в постели, тяжело дышал Дуглас.

Его дыхание напоминало звук, издаваемый острым ножом, снова и снова входящим в ножны и выходящим из них.

В восемь часов пришел доктор и вышел из комнаты, качая головой, сняв пиджак, развязав галстук, с таким видом, словно он в этот день похудел на тридцать фунтов. В девять часов папа вытащил наружу раскладушку и вынес Дугласа спать во дворе под яблоней, где ветерок нашел бы его скорее, чем в ужасных комнатах, если бы этот ветерок подул. Затем они ходили взад-вперед до одиннадцати, установили будильник, чтобы проснуться в три часа и нарубить побольше льда и заправить в мешочки.

Наконец в доме стало темно, тихо, и они уснули.

В двенадцать тридцать пять веки у Дугласа вздрогнули.

Всходила луна.

Тут издалека донеслось пение.

Высокий печальный голос то поднимался, то опускался. Чистый и мелодичный голос. Слов было не разобрать.

Луна встала над озером, и посмотрела на Гринтаун, штат Иллинойс, и увидела его целиком, каждый дом, каждое дерево, каждую собаку, помнящую доисторическую эпоху и вздрагивающую в своих незатейливых снах.

И казалось, чем выше луна, тем ближе, громче и чище поющий голос.

И Дуглас в своем бреду повернулся и вздохнул.

Наверное, то было за час до того, как луна пролила на мир весь свой свет, ну, может, не весь. Но голос приблизился, и звук биения сердца был на самом деле топотом лошадиных копыт по кирпичным мостовым, который скрадывался густой горячей листвой деревьев.

Слышался и другой звук, словно время от времени медленно отворяли или захлопывали скрипучие двери. Звук фургона.

По улицам при свете луны вышагивала лошадка, тянущая фургон, а в нем сутулый мистер Джонас непринужденно устроился на своем высоком сиденье. Он был в шляпе, как будто все еще находился под летним солнцем, и время от вре-

мени двигал руками, чтобы потеребить поводья, словно ручейки воды в воздухе над лошадиной спиной. Фургон с поющим мистером Джонасом катился по улице очень медленно, и во сне Дуглас на мгновение, кажется, задержал дыхание и прислушался.

— Воздух, воздух… купите этот воздух… Воздух, как вода, и воздух, как лед… купите раз и купите — второй… вот воздух апреля… ветер осенний… воздух папайи антильской… Воздух, воздух, душистый пряный воздух… чистый… редкий… отовсюду свезенный… разлитый в бутыли, закупоренный, настоянный на тимьяне, чего еще можно хотеть от воздуха, купленного за грошик!

Песнь закончилась, и фургон оказался у бордюра. И кто-то стоял во дворе, переминаясь с ноги на ногу на своей тени, в руках две бутыли, зеленые, как майские жуки, мерцавшие, словно кошачьи глаза. Мистер Джонас посмотрел на раскладушку и еле слышно позвал мальчика по имени один, два, три раза. Мистер Джонас колебался в нерешительности и, шагая украдкой, сел на траву и взглянул на мальчугана, придавленного огромной тушей лета.

— Дуг, — сказал он, — лежи себе тихонько. Ничего не нужно говорить, не нужно открывать

глаза. Даже не нужно притворяться, что слушаешь. Но здесь, внутри, я знаю, ты слышишь меня, своего старинного друга Джонаса, твоего друга, — повторил он и кивнул.

Он протянул руку и сорвал с ветки яблоко, повертел в руках, откусил, пожевал и снова заговорил.

— Некоторые люди грустнеют в ужасно раннем возрасте, — сказал он. — Без видимой причины, казалось бы, но можно сказать, они такими уродились. Они более ранимы, быстрее утомляются, плачут легче, дольше помнят и, как я сказал, грустнеют раньше, чем кто-либо во всем белом свете. Я-то знаю, ведь я сам такой.

Он еще раз откусил от яблока и пожевал.

— Ладно, так о чем это я? — спросил он.

— Душная ночь, ни единая былинка не шевелится. Август, — ответил он сам себе. — Убийственная жара. Лето кажется долгим и слишком насыщенным событиями. Чересчур. Дело идет к часу ночи, и ни единого дуновения ветра, ни единого намека на дождь. Через минуту я встану, чтобы уйти, но когда я уйду (запомни хорошенько), то оставлю эти две бутыли на твоей постели. И когда я скроюсь из виду, прошу немного подождать, затем медленно открой глаза, садись на

кровати, дотянись и выпей все содержимое бутылей. Не ртом, заметь, а носом. Наклони бутыли, откупорь, и пусть все, что в них есть, попадет прямо в твои мозги. Сперва, разумеется, прочти все этикетки. Но давай-ка я сам их тебе прочитаю.

Он поднес бутылку к свету.

— «ЗЕЛЕНАЯ МГЛА ГРЕЗ: ЧИСТЕЙШИЙ ВОЗДУХ СЕВЕРА, — прочитал он, — почерпнутый из атмосферы Белой Арктики весною тысяча девятисотого года, смешанный с ветрами Долины Верхнего Гудзона в апреле тысяча девятьсот десятого года, содержащий частицы пыли, сверкавшей однажды на закате на лугах, в окрестностях Гринелла, штат Айова, когда прохладный воздух поднимался, дабы быть уловленным на озере, на ручейке и природном роднике».

— А теперь маленькое примечание, — сказал он, прищурившись. — «А также содержит молекулы паров ментола, лайма, папайи, арбуза и всех налитых соками плодов и растений, наподобие камфарного дерева и трав, наподобие вереска, и дуновения ветра, поднимающегося на реке Де-Плейнс. Прохлада и свежесть гарантированы. Принимать летними вечерами, когда жара зашкаливает за девяносто градусов».

Он взял вторую бутылку.

— Это то же самое, с той лишь разницей, что я наполнил ее ветрами Аранских островов и Дублинского залива, с налетом соли и лоскутом махрового тумана с берегов Исландии.

Он уложил обе бутыли на кровать.

— Последнее наставление.

Стоя у раскладушки, он склонился над ней и тихо заговорил.

— Когда будешь пить этот воздух, помни: он был разлит другом. Компания по розливу «С. Дж. Джонас», Гринтаун, Иллинойс, август тысяча девятьсот двадцать восьмого года. Выдающийся год, мой мальчик… выдающийся год.

Спустя мгновение в лунном свете раздался шлепок поводьев по лошадиной спине и громыхание фургона по мостовой.

Через миг веки Дугласа вздрогнули и медленно-медленно открылись.

* * *

— Мама! — прошептал Том. — Папа! Дуг! Дуг! Он выздоравливает. Я только что сходил посмотреть, и он… Идемте же!

Том выбежал из дома. Родители — за ним.

Когда они приблизились, Дуглас спал. Том жестом подозвал родителей, бурно радуясь. Все трое

склонились над раскладушкой.

Выдох — пауза, выдох — пауза — вот что они услышали. Губы Дугласа слегка разжались, и сквозь них и тонкие ноздри плавно истекал аромат прохладной ночи, и прохладной воды, и прохладного белого снега, и прохладного зеленого мха, и прохладного лунного света, падающего на каменистое дно тихой реки и на прохладную прозрачную воду на дне маленького белокаменного колодца.

Словно они на миг с головой окунулись в фонтан, который ударил вверх струями, источающими аромат яблок, и омыл их лица.

И долго еще они не могли пошевелиться.

* * *

Наутро исчезли все гусеницы. Мирок, кишмя кишащий крошечными, коричнево-черными пушистыми комочками, ковылявшими на поиски зеленой листвы и трепетных травинок, внезапно опустел. Прекратилась неслышная поступь миллиардов шажков гусениц, двигающихся по своей вселенной. Том, уверявший, будто способен расслышать эти шаги, с изумлением смотрел на город, в котором птицам стало нечего клевать. И цикады куда-то запропастились.

Затем по безмолвию пробежал охающий шелест, и все догадались, куда подевались гусеницы и с чего вдруг умолкли цикады.

Летний дождь.

Дождь сначала накрапывал полегоньку. Потом зарядил не на шутку и полил как из ведра, играя на тротуарах и крышах, словно на больших роялях.

А наверху, снова у себя в комнате, в своей прохладной, как снег, постели, Дуглас повернул голову и открыл глаза, чтобы посмотреть на свежесть, низринутую с небес, и его пальцы медленно разжались и потянулись к желтому пятицентовому блокноту и желтому карандашу «Тикондерога»…

XXXII[27]

Прибытие новичка вызывало великий переполох. Где-то раздался трубный глас. Где-то в переполненных комнатах постояльцы и соседи собрались пить полуденный чай. Приехала тетушка по имени Роза, и ее зычный голос перекрывал все остальные, так что она заполняла собою любую комнату, в какой бы ни находилась, и воображение рисовало образ тепличной розы, пламенной и неохватной, под стать ее имени. Но в этот миг для Дугласа ни голос, ни суматоха ровным счетом ничего не значили. Он вышел из родительского дома и стоял в дверях бабушкиной кухни, как и сама бабушка, которая под каким-то предлогом, спасаясь от кутерьмы в гостиной, юркнула в свою вотчину готовить ужин. Она заметила его, отворила перед ним москитную сетку, поцеловала в лоб, откинула белобрысые волосы с глаз, посмотрела в упор, чтобы убедиться, что от жара остался лишь пепел, и, убедившись, присту-

---

[27] Сноски: 27

Рассказ Р. Брэдбери «Колдовская кухня», также известный под названием «Ужин на рассвете» («The Magical Kitchen»/«Dinner at Dawn», «Everywoman's Magazine» Feb 1954).

пила к своим занятиям, что-то себе напевая.

Ему нередко хотелось спросить:

— Бабушка, не здесь ли начало начал? Ведь наверняка все началось именно в таком месте. Кухня, вне сомнений, была центром мироздания, опорой храма, вокруг которого все вращалось.

Смежив веки, дабы не мешать своему обонянию блуждать, он сделал глубокий вдох. Он рыскал среди клубов адского пламени и внезапных белоснежных вихрей пекарского порошка в этом диковинном климате, где бабушкины глаза горели, как два алмаза, и за ее корсажем устроилась пара упругих теплых курочек. Бабушка, тысячерукая, словно индийская богиня, встряхивала, поливала жаркое, вспенивала, отбивала, крошила, нарезала кубиками, лущила, обертывала, солила, взбалтывала, ворошила.

Ослепленный, он на ощупь проложил дорогу к дверям кладовки. Из гостиной раздался пронзительный хохот, от которого звенели чашки. Но он продолжал свой путь в прохладный зеленый подводный мир дикой хурмы, где висели, тихо дозревая, ароматные бананы, о которые он стукался головой. Комары злобно зудели вокруг графинчиков с уксусом и его ушей.

Он открыл глаза. Он увидел хлеб, ожидающий,

когда его разрежут на ломти теплого летнего облака, пончики, рассыпанные, как клоунские обручи после некоей съедобной игры. Здесь, на затененной сливами стороне дома, где кленовые листья текли, словно ручей, на знойном ветру у окна, он читал названия пряностей на ящичках.

«Как отблагодарить мистера Джонаса, — думал он, — за то, что он сделал? Как его отблагодарить, чем отплатить? Нечем. Совершенно нечем. Как можно отплатить? Как тогда быть? Как? Передать кому-нибудь, — думал он, — каким-нибудь образом. Чтобы цепочка не прервалась. Оглянись, найди кого-нибудь и передай. Иначе нельзя…»

— Кайенский перец, душица, корица.

Названия затерянных славных городов, сквозь которые проносились пряные вихри.

Он подбросил гвоздику, прибывшую из Черного континента, где некогда она просыпалась на молочный мрамор и в нее стали играть дети с лакричными ладошками.

Рассматривая ярлычок на банке, он представил, как снова попал в тот особенный летний день, когда он впервые посмотрел на кружащийся мир и обнаружил себя в его центре.

На банке было написано слово УСЛАДА.

И он обрадовался тому, что тогда он решил

жить.

УСЛАДА! Какое особое название для мелко нарезанных солений в банке с белой крышкой. Каким должен был быть человек, давший ей это название? Шумный, неистовый, он, должно быть, сгреб в охапку и запихал в банку все удовольствия мира и начертал на ней крупными кричащими письменами УСЛАДА! Ибо само звучание этого слова — это словно катаешься кубарем по душистым полям с безудержными гнедыми кобылами, с травами, свисающими, как бороды, из их ртов, ныряешь в корыто с водой так глубоко, чтобы море врывалось пузырьками и бульканьем в твою голову. УСЛАДА!

Он протянул руку. И вот — ОСТРЫЕ ЗАКУСКИ.

— Что у бабушки сегодня на ужин? — раздался голос тетушки Розы из внешнего полуденного мира гостиной.

— Никто не знает, что стряпает бабушка, — сказал дедушка, вернувшийся домой пораньше, чтобы позаботиться об этом необъятном цветочке, — до тех пор, пока не сядет за стол. У нас всегда тайны и напряженное ожидание.

— А мне всегда хочется знать, что мне предстоит есть! — воскликнула тетушка Роза и захохотала так, что висюльки на люстре в столовой

задребезжали от боли.

Дуглас еще глубже забился во мрак кладовки.

— Острые закуски… какие смачные словечки. А базилик и бетель? Стручковый перец? Карри? Все здорово! Но Услада, ах, да еще с большой буквы, — спору нет, она — лучше всех.

Оставляя за собой шлейф пара, бабушка входила и выходила, а потом снова входила с блюдами под крышкой из кухни до стола, а собравшаяся компания молча ожидала. Никто не смел приподнять крышку, чтобы подсмотреть, какие там упрятаны яства. Наконец, бабушка тоже села, дедушка прочитал молитву, и сразу же после нее ножи-вилки взлетели, как туча саранчи.

Когда рты у всех были битком набиты чудесами, бабушка откинулась на спинку стула и поинтересовалась:

— Ну, как? Вам понравилось?

И родня, включая тетушку Розу, и постояльцы, погрязшие с зубами во вкуснятине, столкнулись с ужасной дилеммой: либо заговорить и испортить магию, либо продолжать жевать, чтобы сия сладостная медвяная пища богов таяла у них во рту. Вид у них был такой, будто они вот-вот рассмеются или заплачут от такой жестокой дилеммы. Вид у них был такой, будто они готовы сидеть

тут вечно, не обращая внимания ни на огонь, ни на землетрясения, ни на пальбу на улице, ни на избиение младенцев во дворе, — ошеломленные испарениями и посулами бессмертия. Все злодеи казались воплощением непорочности в тот миг утонченных приправ, сладких сельдереев, смачных кореньев. Взгляд устремлялся по заснеженному полю скатерти, на котором произрастали фрикасе, салмагунди, суп гумбо, импровизированное блюдо из молодой кукурузы с бобами, похлёбка из рыбы, рагу. Слышно было лишь доисторическое бульканье из кухни и позвякивание вилок по тарелкам, которое в отличие от боя часов отсчитывало секунды, а не часы.

Но вот тетушка Роза собрала воедино свою неистребимую розовощекость, здоровье и силу и, подняв вверх вилку, на которую была нанизана тайна, громогласно изрекла:

— Ладно, все это хорошо, конечно, невероятно вкусно, но что за блюдо мы сейчас едим?

В заиндевелых стаканах с лимонадом прекратилось треньканье. Вилки перестали сверкать в воздухе и легли на стол.

Дуглас наградил тетушку Розу последним взглядом смертельно раненного оленя, подстреленно-

го охотником и готового упасть. Поочередно на каждом лице появилось уязвленное изумление. Еда говорит сама за себя. Разве не так? Еда — сама себе философия, она задавала вопросы и отвечала на них. Разве недостаточно того, что твои плоть и кровь просили именно такого ритуала и редкостного восхваления?

— Ни за что не поверю, — сказала тетушка Роза, — что никто не расслышал моего вопроса.

Бабушка в конце концов приоткрыла рот, чтобы дать ответ.

— У меня это называется *особое* блюдо, которое подают по четвергам. Мы едим его регулярно.

Что не соответствовало действительности.

За все эти годы ни одно блюдо не повторилось. Откуда возникло это блюдо? Может, из глубокого зеленого моря? А то — было сражено пулей в голубом летнем воздухе? Плавало ли? Летало? Гоняло по его жилам кровь или хлорофилл? Ходило по земле или поворачивалось вслед за солнцем? Никто не знал. Никто не спрашивал. Никто не интересовался.

Самое большее — люди стояли в дверях кухни посмотреть на фонтаны пекарского порошка, поласкать слух уханьем, грохотом и стуком, как на спятившей фабрике, на которой бабушка

подслеповато озиралась, позволяя пальцам самим находить то, что нужно, среди котелков и баночек.

Осознавала ли она свой талант? Вряд ли. Когда ее спрашивали о стряпне, бабушка поглядывала на свои руки, которые она по гениальному наитию отправляла вываливаться в муке, проникать в разобранных индеек, погружаясь по самое запястье в поисках их звериных душ. Ее серые глаза моргали из-под очков, покоробленных сорока годами печного жара, ослепленных брызгами перца и шалфея, из-за чего могла иногда бросить щепотку кукурузного крахмала на стейки, на нежные, сочные стейки! А иногда роняла абрикосы в мясные пироги, взаимно обогащала мясо, травы, фрукты, овощи без предупреждения, без уважения к рецептам или формулам, лишь бы в момент подачи на стол текли слюнки и громко стучала кровь в жилах. Ее руки, как и прежде руки прабабушки, были бабушкиной тайной, радостью и жизнью. Она разглядывала их в изумлении, но пусть живут своей жизнью, как им хочется.

И вот в первый раз за бесконечные годы, откуда ни возьмись, выскочка, вопрошательница, почти что лабораторная исследовательница, заговори-

ла, вместо того чтобы помалкивать.

— Да, да, но что ты добавляешь в это *особое* блюдо, которое подаешь по четвергам?

— А что, — сказала уклончиво бабушка, — ну, а ты вкус чего уловила?

Тетушка Роза понюхала ломтик на вилке.

— Говядина или баранина? Имбирь или корица? Ветчинный соус? Голубика? Немного печенья? Лучок? Миндаль?

— Совершенно верно, — сказала бабушка. — Кому добавки? Всем?

Последовал великий переполох, гром тарелок, лес рук, хор голосов, которые надеялись, что святотатственный допрос потонет в них навечно. Дуглас галдел громче всех и жестикулировал энергичнее всех. Но на лицах домочадцев можно было заметить, что их мирок зашатался, а счастье в опасности. Ибо они принадлежали к избранным членам семейства, которые стремглав бежали с работы или игры, едва заслышав первый обеденный звонок из коридора. Их прибытие в столовую с незапамятных времен превращалось в некое суматошное подобие игры «кому достанется стул». Словно оголодав в одиночном заключении, они дожидались разрешения скатиться вниз, оттесняя друг друга локтями, и заполонить

стол, расправляя белыми всплесками салфетки и хватая приборы. Теперь же они раздраженно тараторили, отпускали прозрачные шуточки, метали взгляды в сторону тетушки Розы, словно она в своем пышном бюсте скрывала бомбу, которая тикала, приближая роковой час.

Тетушка Роза, почуяв, что помолчать и впрямь было бы нелишним, посвятила себя трем добавкам неведомого лакомства и отправилась наверх расшнуровывать корсет.

* * *

— Бабушка, — сказала тетушка Роза, вернувшись вниз, — в каком состоянии твоя кухня? Какой-то невообразимый хаос, надо признать. Бутылки, тарелки, ящики повсюду, ни на чем нет ни ярлыков, ни этикеток. Откуда ты знаешь, чем пользуешься? Меня будут мучить угрызения совести, если ты не позволишь мне помочь тебе навести порядок, пока я здесь. Дай-ка я засучу рукава.

— Нет, благодарю покорно, — отрезала бабушка.

Сквозь стенки библиотеки Дугласу все было слышно, и сердце у него так и екнуло.

— Тут как в турецкой бане, — продолжала те-

тушка Роза. — Давай хоть окна откроем, закатаем шторы, а то ведь не видно, что мы делаем.

— От света глаза болят, — возразила бабушка.

— Я возьмусь за метлу, вымою посуду и расставлю аккуратненькими стопочками. Я просто обязана прийти на помощь. Ни слова больше!

— Шла бы ты, присела где-нибудь, — посоветовала бабушка.

— Как же так, бабушка, только представь, как от этого выиграет твоя стряпня. Ведь ты бесподобно готовишь, но если ты так великолепно справляешься со всем в этом бедламе, а это чистейший бедлам, то представь, как замечательно ты будешь управляться со всем этим, если мы разложим все по местам, чтобы все было под рукой.

— Никогда не задумывалась об этом… — сказала бабушка.

— Так задумайся. Скажем, к примеру, современные кулинарные методы помогут тебе усовершенствовать твою стряпню на десять-пятнадцать процентов. Твои мужланы за столом и так руководствуются одними звериными инстинктами. А спустя всего неделю они и вовсе перемрут, как мухи, от обжорства. Еда станет такой изысканной и утонченной, что они будут не в силах остановить свои ножи-вилки.

— Ты так думаешь? — сказала бабушка, начиная интересоваться.

— Бабушка, не поддавайся! — шептал Дуглас в библиотеке.

Но, к своему ужасу, он услышал, как они метут, вытирают пыль, выбрасывают полупустые мешки, прилаживают новые ярлычки к банкам, расставляют тарелки, кастрюли и сковороды по полкам, пустовавшим годами. Даже ножи, лежавшие подобно улову серебристых рыбешек на кухонных столах, были ссыпаны в ящики.

Дедушка целых пять минут прислушивался ко всему этому за спиной Дугласа. Несколько озадаченно он почесал свой подбородок.

— Знаешь, ведь если задуматься, на кухне издавна царила жуткая неразбериха. Нужен хотя бы какой-то порядок, спору нет. И если то, что твердит тетушка Роза, правда, Дуг, мой мальчик, то на ужин нас ожидает редкий сюрприз. Завтра вечером.

— Да, сэр, — сказал Дуглас. — Редкий сюрприз.

* * *

— Что это у тебя там? — спросила бабушка.

Тетушка Роза выудила из-за спины подарочный сверток. Бабушка развернула его.

— Поваренная книга! — вскричала она и уронила книгу на стол. — Она мне ни к чему! Пригоршню этого, щепотку того, капельку сего. Вот и все, что мне нужно…

— Я помогу тебе с покупками, — сказала тетушка Роза. — И пока не забыла: я тут наблюдаю за твоими очками, бабушка. Что же это, выходит, ты столько лет смотришь сквозь эти перекошенные очки с обколотыми стеклами? Как ты вообще находишь дорогу и не спотыкаешься о короб с мукой? Мы сию же минуту идем выправлять тебе новые очки.

И они вышли в летний полдень — огорошенная бабушка, ведомая под руку тетушкой Розой.

Они вернулись со снедью, новыми очками и новой прической на бабушкиной голове. Вид у бабушки был такой, словно за ней гнались по всему городу. Она хватала ртом воздух, пока тетушка Роза помогала ей зайти в дом.

— Ну вот, бабушка. Теперь все у тебя под рукой. Теперь ты можешь видеть!

— Идем, Дуг, — сказал дедушка. — Давай пройдемся по кварталу, нагуляем аппетит. Этот вечер войдет в историю — лучший из всех когда-либо поданных на стол ужинов, или я съем свою жилетку.

* * *

Время ужинать.

Тот, кто улыбался, перестал улыбаться. Дуглас три минуты пережевывал первый ломтик, а потом, притворившись, что вытирает рот, выплюнул его в салфетку. Он заметил, что Том с папой последовали его примеру. Сотрапезники сталкивали куски еды друг с другом, прокладывали тропы, рисовали картинки и узоры на подливе, лепили замки из картофелин, украдкой скармливали ломти мяса собаке.

Дедушка поспешно нашел предлог выйти из-за стола.

— Я сыт, — сказал он.

Все постояльцы побледнели и притихли.

Бабушка раздраженно ковырялась в своей тарелке.

— Правда, объедение? — приставала ко всем тетушка Роза. — И на стол подали на полчаса раньше!

Но остальные думали, что за воскресеньем последует понедельник, а за понедельником последует вторник, и так всю неделю потянется череда удручающих завтраков, душераздирающих обедов и поминальных ужинов. Столовая

опустела в несколько минут. Наверху, в своих комнатах, терзались постояльцы.

Ошеломленная, бабушка медленно отправилась на кухню.

— Это уже слишком! — сказал дедушка. Он вышел на лестничную площадку и бросил клич в пыльное, пронизанное солнечным светом пространство: — Все вниз!

В полумраке уютной библиотеки раздавался гомон всех до единого постояльцев. Дедушка молча пустил по кругу свой котелок со словами:

— На общее дело.

Затем он опустил тяжелую руку на плечо Дугласа.

— Дуглас, сынок, мы поручаем тебе важное задание. Теперь послушай… — И он стал что-то тепло и дружелюбно нашептывать на ухо мальчику.

* * *

На следующий день, в полдень, Дуглас обнаружил тетушку Розу в саду, срезающую цветы в одиночестве.

— Тетушка Роза, — заговорил он с важным видом, — хотите сходить на прогулку? Я покажу вам овраг с бабочками, вон там.

Вместе они обошли весь город. Дуглас говорил быстро и сбивчиво, не глядя на нее, а лишь прислушиваясь к бою часов на здании суда.

Когда они под сенью теплых летних вязов почти дошли назад к дому, тетушка Роза вдруг ахнула и взялась за горло, хватая воздух.

Там, у нижней ступеньки лестницы, ведущей на веранду, стоял ее аккуратно упакованный багаж. Летний ветерок трепал розовый железнодорожный билет на чемодане.

Постояльцы, все десятеро, неподвижно сидели на веранде. Дедушка, как железнодорожный кондуктор, градоначальник и добрый друг, торжественно спустился по ступенькам.

— Роза, — сказал он ей, беря за руку и энергично пожимая. — Я должен кое-что тебе сказать.

— Что же? — поинтересовалась тетушка Роза.

— Тетушка Роза, — сказал он. — Счастливого тебе пути!

* * *

Они слышали песнь поезда, уносящегося навстречу вечерним часам. Веранда опустела, багаж укатил, комната тетушки Розы освободилась. В библиотеке дедушка, посмеиваясь, на ощупь отыскал некий пузырек со снадобьем за томика-

ми Эдгара Алана По.

Бабушка вернулась из похода по магазинам одна.

— Где тетушка Роза?

— Мы распрощались с ней на станции, — сказал дедушка. — Мы все прослезились. Ей очень не хотелось уезжать, но она передавала тебе горячий привет и сказала, что вернется снова лет через двенадцать. — Дедушка достал свои увесистые золотые часы. — А теперь я предлагаю всем уединиться в библиотеке со стаканчиком шерри, пока бабушка будет творить свою восхитительную трапезу.

Бабушка удалилась в дальний конец дома.

Все — постояльцы, дедушка и Дуглас — заговорили, заулыбались и стали прислушиваться и таки услышали приглушенные звуки, доносящиеся из кухни. Когда бабушка позвонила в колокольчик, они гурьбой побежали в столовую, работая локтями.

Каждый откусил по огромному куску.

Бабушка наблюдала за лицами постояльцев. Они молча уставились в свои тарелки, держа руки на коленях, еда остывала, непережеванная, у них за щекой.

— Я разучилась — сказала бабушка. — Я боль-

ше не умею готовить…

И расплакалась.

Она встала и ушла в свою тщательно прибранную кухню с аккуратно наклеенными на все банки ярлыками, беспомощно разводя руками.

* * *

Постояльцы легли спать на голодный желудок.

Дуглас слышал, как часы на здании суда пробили половину одиннадцатого, одиннадцать, потом полночь. Слышал, как постояльцы ерзают в своих постелях, словно под залитой лунным светом крышей большого дома прокатывалась волна. Он знал, что все они бодрствовали в грустных раздумьях. Наконец он сел на кровати. И улыбнулся стене и зеркалу. Открывая дверь и спускаясь, крадучись, по лестнице, он продолжал ухмыляться. В гостиной было темно, пусто и пахло одиночеством и ветхостью. Дуглас затаил дыхание.

Ощупью проложил себе путь на кухню и остановился в ожидании.

Затем приступил к делу.

Он взял новенькую аккуратную жестяную банку с разрыхлителем и пересыпал ее содержимое в старый мешок из-под муки, где ей и место. Белую муку он смел в старый глиняный кувшин. Сахар

из металлического контейнера с надписью «Сахар» он распределил по старым добрым баночкам поменьше с надписями «Пряности», «Столовые приборы», «Шпагат». Высыпал гвоздику туда, где она лежала годами, усеивая дно полудюжины выдвижных ящиков. Он перетащил тарелки, ножи, вилки и ложки обратно на поверхность столов.

Он нашел новые бабушкины очки на каминной полке в гостиной и запрятал в погребе. Он развел большой костер в старой дровяной печке, пустив на растопку новую поваренную книгу. К часу ночи печная труба загудела, взревела, да так, что если кто и спал, то проснулся. Дуглас услышал шарканье бабушкиных тапок на лестнице, ведущей в коридор. Она стояла в кухне, ошеломленно глядя на учиненный хаос. Дуглас же прятался за дверью кладовки.

В половине второго, в непроглядной черной ночи, по продуваемым коридорам дома разнеслись ароматы стряпни. По лестницам стали спускаться женщины в бигуди, мужчины в банных халатах, чтобы подкрасться на цыпочках и заглянуть на кухню, освещенную лишь всполохами красного пламени из шипящей печки. И там, в черноте кухни, в два часа теплой летней ночи бабушка витала, как призрак, среди громыхания

и бряканья, опять полуслепая без новых очков, интуитивно шаря пальцами в темноте, вытряхивая клубы специй над булькающими котлами и закипающими чайниками, с отблесками рыжего огня на лице, зачарованно и магически, орудуя ухватом, перемешивая и разливая пищу богов.

Потихоньку, потихоньку постояльцы накрывали лучшие скатерти, раскладывали сияющее серебро и зажигали свечи вместо электричества, которое лишь испортило бы все очарование.

Дедушка, воротясь поздно ночью домой из типографии, изумился, услышав в столовой слова молитвы при свечах.

А как же кушанья? Мясные блюда были приправлены, соусы наперчены, зелень увенчана сливочным маслом, печенье в прозрачных росинках меда; все сочно, смачно и так на удивление питательно, что раздалось тихое довольное урчание, словно стая зверей резвилась среди клевера. Все как один восклицали благодарности за то, что облачены в просторные ночные одеяния.

В воскресенье в половине четвертого утра в доме, согретом трапезой и дружеским настроением, дедушка отодвинул стул и величественно взмахнул рукой. Из библиотеки он принес томик Шекспира, положил на блюдо и преподнес жене.

— Бабушка, — сказал он. — Об одном прошу, завтра вечером на ужин приготовь нам этот изысканный том. Уверен, мы все согласны, что завтра в сумерках, пока он дойдет до стола, он станет утонченным, сочным, поджаристым и нежным, как грудка осеннего фазана.

Бабушка взяла книгу, и у нее на глазах проступили слезы счастья.

За десертом и вином из полевых цветов, собранных на переднем дворе, они просидели до рассвета, а затем, когда пробудились первые пташки и на востоке угрожающе зарделось солнце, все поползли к себе наверх. Дуглас прислушивался, как остывает печь в далекой кухне, как бабушка отправилась почивать.

«Старьевщик, — подумал он, — мистер Джонас, где бы вы ни были, я отблагодарил вас, я отплатил сторицей, я передал добро другому человеку, ей-богу, передал…»

Он уснул и видел сны.

Ему снилось, что звонил колокольчик и все с воплями устремились вниз на завтрак.

XXXIII

Внезапно лето кончилось.

Он догадался об этом, гуляя по городу. Том сжал его руку и, затаив дыхание, ткнул пальцем в витрину мелочной лавки. Они остолбенели, не в состоянии сдвинуться с места: предметы из другого мира были выставлены в витрине так угрожающе аккуратно, невинно, как ни в чем не бывало, как будто так и надо.

— Карандаши, Дуг, десять тыщ карандашей!

— Жуть!

— Блокноты за десять центов, за пять центов, тетради, ластики, акварели, линейки, компасы — целая сотня тыщ!

— Не смотри. Может, это просто мираж.

— Нет, — простонал Том в отчаянье. — Школа. Школа замаячила на горизонте! Ну почему лавки выставляют все эти вещи еще до окончания лета! Половина каникул насмарку!

Они зашагали домой и застали дедушку одного на увядающей с пролысинами лужайке, собирающего последние одуванчики. Они молча помогли ему, и потом Дуглас, согнувшись в своей тени,

сказал:

— Том, если год прошел вот так, каков будет следующий, лучше или хуже?

— Не спрашивай меня. — Том дунул в дудочку одуванчикового стебелька. — Я, что ли, сотворил этот мир? — Потом призадумался. — Хотя иногда мне кажется, что я. — И с довольным видом сплюнул.

— У меня предчувствие, — сказал Дуглас.

— Какое?

— Следующий год будет еще величественнее, дни будут ярче, ночи длиннее и темнее, больше людей умрет, новые младенцы народятся, и я — в гуще всего этого.

— Ты и еще несметное количество людей, Дуг, не забывай.

— В такие дни, как этот, — пробормотал Дуглас, — мне кажется, что… только я!

— Понадобится помощь, — сказал Том, — только крикни.

— Что может сделать десятилетний братишка?

— Десятилетнему братишке будущим летом будет одиннадцать. Я буду разматывать мир, как резиновую ленту на мяче для гольфа, каждое утро, а потом намотаю обратно. Если попросишь, покажу, как это делается.

— Чудик.

— Всегда таким был. — Том скосил глаза и высунул язык. — И всегда — буду.

Дуглас рассмеялся. Они спустились вместе с дедушкой в погреб, и, пока тот отрывал головы цветкам, мальчики смотрели на полки, где в бутылках с вином из одуванчиков мерцали застывшие потоки лета. Девяносто с лишним сверкающих пронумерованных бутылок из-под кетчупа, большинство полные, выстроились в сумерках погреба, по одной на каждый прожитый летний день.

— Ух ты, — сказал Том, — отменный способ сохранить июнь, июль и август. Очень практично.

Дедушка взглянул на него, подумал и улыбнулся.

— Да уж куда лучше, чем отнести вещи на чердак и никогда ими больше не пользоваться. А так ты можешь пережить лето за минуту или две на протяжении всей зимы. И когда бутылки опустеют, лето уйдет навсегда, — и никаких сожалений, никакого сентиментального сора, о который будешь спотыкаться еще сорок лет. Чисто, без шума и пыли, вот это и есть вино из одуванчиков.

Мальчики тыкали пальцами то в одну, то в другую бутылку.

— Первый день лета.

— День новеньких теннисных туфель.

— Точно! А вот — Зеленая машина!

— Буйволиная пыль и Чэн Ляньсу!

— Ведьма Таро! Неприкаянный!

— Лето еще не закончилось, — сказал Том. — Ему нет конца. Я всю жизнь буду помнить, что случилось в каждый день этого года!

— Оно закончилось, не успев начаться, — сказал дедушка, раскручивая винный пресс. — Я не запомнил ничего, кроме какой-то новой травы, которую не нужно стричь.

— Ты шутишь!

— Вовсе нет. Дуг, Том, с возрастом вы поймете, что дни как бы тускнеют… не отличишь один от другого…

— Ну, как же так, — сказал Том. — В этот понедельник я катался на роликах в Электрик-парке, во вторник ел шоколадный торт, в среду упал в ручей, в четверг свалился с висячей виноградной лозы. Вся неделя была богата событиями! И сегодняшний день я запомню, потому что листья начали желтеть и багроветь. Скоро они завалят всю лужайку, и мы будем прыгать в кучи листьев, а потом сожжем их. Никогда я не забуду сегодняшний день, а запомню его навсегда, уж

это-то я знаю точно!

Дедушка посмотрел вверх, сквозь оконце погреба, на деревья поздней летней поры, раскачивающиеся на холодном ветру.

— Конечно, запомнишь, Том, — сказал он. — Конечно, запомнишь.

И они покинули теплый свет, испускаемый вином из одуванчиков, и пошли наверх довершать последние ритуалы лета, ибо знали, что наступил последний день, последняя ночь. Смеркалось, и они осознали, что вот уже два-три вечера, как веранды пустеют раньше обычного. В воздухе запахло по-другому, суше, и бабушка стала чаще упоминать в разговоре горячий кофе, а не ледяной чай. Широко распахнутые окна, занавешенные белыми колышущимися занавесками, захлопывались. Холодные закуски уступали место отварному мясу. С веранд убрались комары, и теперь, когда они отказались от борьбы, война со Временем исчерпала себя, и настала пора и людям тоже дезертировать с поля боя.

Как и три месяца (а может, три долгих столетия) тому назад, Том, Дуглас и дедушка стояли на веранде, скрипучей, как корабль, дремлющий в ночи на высоких волнах, и все трое потягивали носом воздух. Мальчикам казалось, что их ко-

сточки были похожи на мел и бивни слона, а не на мятные палочки и лакричную соломку, как в начале года. Но сперва новый холодный ветер коснулся костей дедушки, словно корявой рукой, подбирающей аккорды на пожелтевших басовых клавишах пианино в столовой.

Подобно стрелке компаса, дедушка повернулся на север.

— Полагаю, — сказал он задумчиво, — больше мы сюда выходить не станем.

Затем втроем они, лязгая цепями, высвободили качели из колец в потолке веранды и занесли в гараж, словно облупившиеся похоронные дроги, получив вдогонку первую порцию сухих листьев, пригнанных ветром. В доме они услышали, как бабушка разводит огонь в библиотеке. Окна содрогнулись от внезапного порыва ветра.

Дуглас, которому суждено было провести последнюю ночь под куполом над спальней бабушки и дедушки, записал в своем блокноте:

«Все теперь закрутилось в обратную сторону. Как в кино, когда фильм пускают задом наперед — люди выскакивают из воды обратно на трамплин. В сентябре предстоит опускать рамы окон, которые ты поднимал, снимать тенниски, которые носил, натягивать жесткие ботинки,

сброшенные в июне. Люди вбегают в дом, как кукушки, запрыгивающие обратно в часы. То веранды переполнены и все болтают наперебой, то двери хлопают, разговоры прерываются, и листья, обезумев, сыплются с деревьев».

Он выглянул из высокого окна на землю, по которой, словно сушеный инжир в русле ручья, были рассеяны дохлые сверчки, на небо, в котором под крик осенних гагар птицы скоро устремятся к югу и деревья взметнутся ввысь багровыми столпами на фоне стальных туч. Издалека сегодня ночью будут доноситься запахи созревающих тыкв, и приблизится день, когда в них вонзится нож, вырезающий треугольные глазищи, и зажжется свеча. В городе из труб взвились первые дымные шлейфы, а вздрагивание железа вдалеке возвестило о схождении твердых черных лавин угля по желобам и о черных курганах в подвальных закутах.

Но время было позднее и быстро утекало.

Дуглас под своим высоким куполом над городом сделал движение рукой.

— А ну-ка, всем раздеться!

Он подождал. Подул ветер, и оконное стекло похолодело.

— Чистим зубы!

Опять пауза.

— А теперь, — скомандовал он наконец, — выключаем свет!

Он моргнул. И огни города стали меркнуть, то там, то тут, людей одолевала дремота, а часы на здании суда пробили десять, десять тридцать, одиннадцать, а вот и сонливая полночь.

— А теперь последние огни… там… и там…

Он лежал в постели, вокруг спал город, чернел овраг, озеро молча набегало на свой берег, и все, его родня, друзья, пожилые люди и молодежь, спали кто на одной улице, кто на другой, кто в этом доме, кто в том или — на далеких сельских кладбищах.

Он смежил веки.

Июньские рассветы, июльские полдни, августовские вечера — все сошли на нет, иссякли, удалились навсегда, оставив в его голове одни лишь впечатления о себе. Теперь всю прохладную осень, и белую зиму, и зеленеющую весну предстояло подводить итоги прошлого лета. А если он что-нибудь забудет, то в погребе есть вино из одуванчиков с большущими номерами на каждый день. Он будет частенько туда наведываться, смотреть прямо на солнце, пока не сможет больше выдержать, затем закроет глаза и

будет созерцать точечки ожогов, летучие шрамы, пляшущие рубцы на своих теплых веках; он будет складывать и раскладывать каждый огонек и отблеск, пока не сложится ясная картина…

С этими мыслями он уснул.

И во сне закончилось Лето тысяча девятьсот двадцать восьмого года.